

## СМЫСЛ «СВОБОДЫ ОТ ОЦЕНКИ» В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ<sup>1</sup>

Под оценкой в дальнейшем следует понимать (во всех тех случаях, когда прямо не высказывается или само собой не разумеется что-либо иное) «практическую» оценку доступного влиянию наших действий явления как достойного порицания или одобрения. Проблема «свободы» определенной науки от оценок такого рода, следовательно, значимость и смысл этого логического принципа отнюдь не тождественны совсем другому вопросу, на котором мы считаем необходимым кратко остановиться. Речь идет о том, *следует ли в университетском преподавании «признаваться»* в своих практических оценках, основанных на определенных этических воззрениях, культурных идеалах или иных мировоззренческих принципах. Предметом научной дискуссии этот вопрос быть не может, ибо он по самой своей природе полностью зависит от практических оценок и именно поэтому не допускает решения. Существует ряд различных точек зрения (мы коснемся здесь только крайних из них):

а) сторонники первой точки зрения полагают, что доступные чисто логическому рассмотрению и чисто эмпирические проблемы действительно следует отделять от практических, этических и мировоззренческих оценок, но что тем не менее (или, быть может, именно поэтому) проблемы обеих категорий должны присутствовать в университетском преподавании;

б) согласно противоположной точке зрения, все вопросы практических оценок должны быть по возможности устранены из преподавания, даже если упомянутое разделение *не* может быть логически *последовательно* проведено.

[547]

...Точку зрения, изложенную в пункте «б», я считаю неприемлемой. Мне представляется прежде всего нереальным нередко совершаемое в нашей науке деление практических оценок на «партийно-политические» и оценки иного характера, деление, направленное лишь на то, чтобы скрыть от слушателей практическое значение внушаемых им взглядов. Что же касается представления о профессорской кафедре как «обители бесстрастности», о необходимости, следовательно, устранить вопросы, способные пробудить «горячую» дискуссию, то эта точка зрения (если вообще обращаться в лекциях к оценкам) носит чисто бюрократический характер, и каждый независимый преподаватель ее, безусловно, отвергнет. Наиболее приемлемыми из тех, кто счел *невозможным* отказаться от практических оценок в эмпирическом исследовании, были самые страстные в своих высказываниях ученые, такие, например, как Трейчке, отчасти Моммзен. Ибо именно подчеркнуто эмоциональное акцентирование позволяет слушателю в *свою очередь* оценить, в какой мере оценка преподавателя, будучи субъективной, вносит некоторую неясность в его изложение, то есть самому совершить то, что оказалось недоступным темпераментной натуре преподавателя. Тем самым подлинный пафос сохраняет силу своего воздействия на юные души, что, как я полагаю, и является целью сторонников практических оценок в университетском преподавании, которые стремятся предотвратить смешение в сознании слушателей различных сфер, а это неизбежно происходит в тех случаях, когда установление эмпирических данных и требование занять определенную практическую позицию в решении важных жизненных проблем погружаются в одинаковую бесстрастность.

Точка зрения, изложенная в пункте «а», представляется мне приемлемой (причем именно с субъективной позиции ее сторонников) единственно и только тогда, когда преподаватель видит свой прямой долг в том, чтобы в каждом отдельном случае со всей отчетливостью пояснять своим слушателям, и в первую очередь уяснить *самому себе* (пусть даже это сделает его лекции менее привлекательными), *что* является в его лекциях чисто логическим выводом или чисто эмпирическим установлением фактов и *что* носит характер практической оценки. Мне представляется такая позиция прямым требованием ин-

теллектуальной честности, если, конечно, признавать различие рассматриваемых здесь сфер: в таком случае это — абсолютный минимум требуемого.

Что же касается вопроса, следует ли *вообще* (даже с принятой выше оговоркой) высказывать с кафедры практические оценки, то это и само по себе является вопросом практической университетской политики и, следовательно, может быть решено только в рамках тех задач, которые данный индивид, отправляясь от *своих* оценок, хотел бы поставить перед университетом. Тот, кто еще сегодня видит главную задачу университета и тем самым — *в силу* своей квалификации университетского преподавателя — свою собственную задачу в том, чтобы воспитывать людей, формировать их политические, этические, эстетические, культурные и иные взгляды, отнесется к роли университета совсем по-иному, чем тот, кто исходит из того факта (и его последствий), что действительно значимое воздействие на слушателей достигается сегодня в университетских аудиториях только посредством *специальных* знаний, сообщаемых квалифицированными *специалистами*, и что единственной специфической добродетелью, которую следует воспитывать в студентах, является «интеллектуальная честность». Первую точку зрения можно, как и вторую, принимать, исходя из самых различных позиций. Что касается последней (которую я лично разделяю), то основой ее может быть как безмерно высокая, так и весьма скромная оценка значения «специального» образования. Так, например, разделять данную точку зрения можно совсем не из стремления по возможности превратить всех людей в «чистых специалистов» в самом прямом смысле этого выражения; напротив, именно потому, что сторонники данной точки зрения стремятся *не* смешивать последние, глубоко личные жизненные решения, к которым каждый человек должен прийти сам, со специальным образованием — как ни велико его значение не только для дисциплины мышления вообще, но косвенным образом и для самодисциплины и всего нравственного облика молодого человека,— они хотят, чтобы решение этих задач слушатель обрел в собственной совести, а *не* почерпнул из лекции профессора.

Благотворный предрассудок профессора Шмоллера в вопросе об оценочных суждениях, высказываемых с кафедры, мне лично представляется вполне объяснимым

в качестве отзвука той великой эпохи, в создании которой участвовали он и его друзья. Однако полагаю, что и он не может не заметить, в какой мере для молодого поколения изменились чисто фактические обстоятельства в одном важном пункте. Сорок лет тому назад среди ученых нашей дисциплины было широко распространено убеждение, что оценочные суждения в области практической политики должны прежде всего носить этический характер (впрочем, сам Шмоллер далеко не полностью разделял это мнение). В настоящее время, как легко заметить, дело уже обстоит совсем не так, и прежде всего в кругах сторонников оценочных суждений в университетском преподавании, — установить данный факт не составляет труда. В наши дни легитимность оценочных суждений в лекциях провозглашается уже не во имя этического требования, чьи (относительно) незамысловатые постулаты справедливости отчасти были, отчасти казались (относительно) простыми как по своему обоснованию, так и по своим последствиям, и прежде всего (относительно) не личностными, поскольку они были однозначно специфически *wad*-личностными. Напротив, теперь (вследствие неотвратимого развития) речь идет о пестром наборе «культурных ценностей», за которыми в действительности скрываются субъективные *претензии* к ходу культурного развития или — уже совершенно откровенно — так называемые «личностные права» преподавателя. Можно, конечно, возмущаться точкой зрения, согласно которой из всех видов пророчества лишь это, *профессорское пророчество*, носящее личностную окраску, совершенно невыносимо, однако опровергнуть ее невозможно — именно потому, что и в ней содержится «практическая оценка». Ведь это — беспрецедентная ситуация, когда многочисленные облеченные доверием государства пророки берут на себя смелость вещать—не на улице или в церквях или каким-либо иным публичным образом, а если

privatim\* , то отнюдь не в кругу избранных сторонников какой-либо религиозной секты, которая признает себя таковой и проповедует свое вероучение, — осмеливаясь предлагать решение важных проблем мировоззренческого характера «во имя науки» в тиши аудиторий, охраняемых государственными привилегиями,

[550]

в якобы объективной, никем не контролируемой, не допускающей дискуссий, следовательно, в тщательно охраняемой обстановке. Некогда Шмоллер со всей решительностью защищал следующий принцип: все то, что происходит в аудиториях, должно оставаться вне публичных дискуссий. Несмотря на то что в ряде случаев такое толкование может привести к неприятным последствиям и в области эмпирической науки, принято считать, и я разделяю эту точку зрения, что «лекция» не должна быть «докладом», что строгая объективность и трезвая научность лекционного курса могут пострадать от вмешательства общественности, например прессы, в результате чего педагогическая цель не будет достигнута. Однако такая привилегия бесконтрольности уместна, как нам представляется, только там, где речь идет о чисто профессиональной квалификации профессора. Что же касается личного пророчества, то в этой области не существует профессиональной квалификации, а поэтому не может быть и упомянутой привилегии. Прежде всего недопустимо, пользуясь положением студента, вынужденного ради своего дальнейшего продвижения в жизни поступать в определенные учебные заведения и слушать лекции тамошних профессоров, не только сообщать ему действительно необходимые знания, пробуждая и дисциплинируя его рецептивные способности и мышление, но одновременно внушать, не встречая противоречия, свое подчас действительно довольно интересное (а иногда достаточно ординарное) так называемое «мировоззрение».

Для пропаганды своих практических идеалов профессор, как и любой другой человек, легко может воспользоваться иными средствами, а если это его не устраивает — создать их в форме, соответствующей его намерениям, о чем свидетельствует ряд честных попыток такого рода. Профессору не следует претендовать на то, что в силу своего положения он хранит в своем портфеле маршалский жезл и полномочия государственного деятеля (или реформатора культуры): между тем, пропагандируя свои государственные (или культурно-политические) взгляды, он поступает именно так. На страницах прессы, на собраниях, в союзах различного рода, в своих статьях он может (и должен) в любой форме, доступной каждому подданному государства, совершать то, что велит ему Бог или дьявол. Однако в *аудитории* препо-

[551]

даватель должен в наши дни прежде всего обучить студента следующему: 1) способности находить удовлетворение в выполнении поставленной перед ним скромной задачи. 2) признанию фактов, в том числе — и в первую очередь — таких, которые неудобны для него лично, и умению отделять их констатацию от оценивающей их позиции. 3) умению дистанцироваться при изучении научной проблемы, в частности подавлять потребность выставлять на первый план свои вкусы и прочие качества, о которых его не спрашивают. Мне представляется, что в наши дни данное требование несравнимо актуальнее, чем сорок лет назад, когда эта проблема вообще не существовала в такой ее форме. Ведь никто не верил в те времена, что «личность» есть (и должна составлять) «единство» в том смысле, что она как бы терпит урон, если не утверждает себя всякий раз, когда ей представляется такая возможность. В решении каждой профессиональной задачи вещь как таковая заявляет о своих правах и требует уважения ее собственных законов. При рассмотрении любого специального вопроса ученый должен ограничить свою задачу и устранить все, непосредственно не относящееся к делу, прежде всего свою любовь или ненависть. *Неверно*, будто сильная личность выражает себя в том, чтобы при любых обстоятельствах проявлять интерес в свойственной только ей «личной

---

\* Частным образом (лат.).—Прим. перев.

ноте». Хотелось бы, чтобы именно подрастающее поколение вновь привыкло к мысли, что нельзя «стать личностью» в результате заранее принятого решения и что (быть может!) к этому ведет лишь один путь, а именно: способность полностью отдаваться «делу», каким бы оно ни было в каждом отдельном случае, как и проистекающее отсюда «требование дня». Вносить личные мотивы в специальное объективное исследование противоречит самой сущности научного мышления. Отказываться от специфического самоограничения, необходимого для профессионального подхода, — значит лишиться свою «профессию» ее единственного смысла, еще существующего в наши дни, И где бы ни утверждался этот модный культ личности — на престоле, в канцелярии или на кафедре, — он, будучи почти всегда внешне эффективным, по существу повсеместно оказывается мелочным и вредным для дела. Полагаю, мне нет необходимости указывать на то, что *такого* рода культ личности, весь смысл которого только в его «личностном» характере,

[552]

безусловно, не имеет никакого отношения к позиции тех противников нашей точки зрения, о которой здесь идет речь. Отличие их взглядов заключается отчасти в том, что они видят задачу лектора в ином свете, чем мы, отчасти же в том, что они исходят из других идеалов воспитания, которые я уважаю, но не разделяю. Однако следует принять во внимание не только их намерения, но и то неизбежное *воздействие*, которое они, легитимируя его своим авторитетом, оказывают на молодое поколение, и без того уже склонное к преувеличенному представлению о своей значимости.

В заключение вряд ли требуется еще указывать на то, что на принцип «свободы от оценочных» суждений, к тому же часто совершенно ими непонятый, не имеют никаких оснований ссылаться те *противники* (политических) оценок, провозглашаемых с кафедры, которые пытаются дискредитировать дискуссии по вопросам культуры и социальной политики, происходящие публично, *вне* университетских аудиторий. Несомненное существование такого рода псевдосвободных от оценочных суждений, тенденциозных элементов, обладающих к тому же сильной и целенаправленной поддержкой влиятельных кругов, интересы которых они отражают в нашей области знания, служит объяснением того факта, что целый ряд ученых, действительно независимых по своей внутренней сущности, остается в данный момент верен принципу оценочных суждений, произносимых с кафедры, так как гордость не позволяет им прибегать к отмеченной мимикрии с помощью мнимой «свободы от оценочных суждений». Лично я полагаю, что, несмотря на все это, следует идти правильным (по моему мнению) путем и что весомость практических оценок, высказанных ученым при соответствующих обстоятельствах вне стен университета, только возрастет, если станет известно, что в своих лекциях он строго держится в границах своих «непосредственных обязанностей». Впрочем, все сказанное относится именно к сфере практических ценностей и потому недоказуемо.

По моему мнению, в *принципе* требование права высказывать с кафедры оценочные суждения было бы последовательным лишь в том случае, если бы им могли пользоваться сторонники *всех* партий<sup>2</sup>. У нас же с этим требованием обычно сочетается нечто противоположное принципу равного представительства всех (в том числе

[553]

и «самых крайних») направлений. Так, для Шмоллера, с его личной точки зрения, было, конечно, вполне последовательно, когда он заявлял, что «марксисты и представители Манчестерской школы» не могут занимать университетские кафедры, хотя он был достаточно справедлив, чтобы не игнорировать *научные* заслуги ученых именно этих направлений. Однако здесь я лично никак не могу согласиться с нашим почтенным мэтром. Нельзя требовать права произнесения оценочных суждений с кафедры и одновременно, когда речь заходит о том, чтобы сделать из этого требования соответствующие выводы, указывать на то, что университет — государственное учреждение, предназначенное для подготовки «верных государственному делу» чиновников. При таком понимании университет превратился бы не в «школу

профессионального обучения» (что представляется столь чудовищной деградацией ряду преподавателей), а в «духовную семинарию», только без ее религиозного ореола. В ряде случаев ограничения вносились по чисто «логическим» соображениям. Так, один из наших самых известных юристов, выступая *против* исключения социалистов из состава профессуры, сказал, что предоставление кафедры права «анархисту» и он счел бы невозможным, поскольку анархисты вообще отрицают значимость права, — ему этот аргумент казался неопровержимым. Я придерживаюсь прямо противоположного мнения. Анархист, безусловно, может быть подлинным знатоком права. Если же он таковым является, то его, так сказать, «архимедова точка», находящаяся *вне* столь привычных нам условностей и предпосылок, на которой он остается в силу своих объективных убеждений (если они подлинны), может позволить ему обнаружить в основных положениях действующего права такую проблематику, которую не замечают те, для кого они слишком привычны. Ибо радикальное сомнение — источник знания. В задачу юриста в такой же степени не входит «доказывать» ценность тех культурных благ, существование которых связано с действием «права», как в задачу медика — «показать», что к продлению жизни следует стремиться при всех обстоятельствах. К тому же ни юрист, ни медик не в состоянии сделать это с помощью тех средств, которыми они располагают. Если же видеть свою цель в том, чтобы превратить кафедру в место обсуждения практических ценностей, то прямым

[554]

долгом было бы предоставить право свободно, без каких бы то ни было ограничений, рассматривать в аудитории именно наиболее принципиальные вопросы с самых различных точек зрения. Возможно ли это? В настоящее время из ведения немецких университетов в силу политических соображений *изъяты* наиболее серьезные и важные ценностные проблемы практической политики. Тому, кто ставит интересы нации выше *всех* ее конкретных институтов без исключения, центральным по своему значению представляется, например, вопрос, совместимо ли господствующее в наши дни мнение о положении монарха в Германии с глобальными интересами нации и с такими средствами, как война и дипломатия, сквозь призму которых эти интересы рассматриваются. И отнюдь не худшие патриоты и не противники монархии склонны теперь отрицательно отвечать на данный вопрос и не верить в прочный успех в упомянутых областях, пока там не произойдут глубокие изменения. Между тем широко известно, что эти жизненно важные для нации вопросы не могут быть предметом свободной дискуссии в стенах немецких университетов<sup>3</sup>. В условиях, когда важнейшие ценностные вопросы практической политики не могут быть свободно обсуждены с кафедры, достоинство ученого должно, как мне кажется, выражаться в том, что он хранит *молчание* и в тех случаях, когда ему милостиво разрешают обсудить те или иные ценностные проблемы.

Однако никоим образом не следует отождествлять вопрос — недоказуемый, поскольку он ценностно обусловлен, — можно ли, должно ли, подобает ли высказывать практические оценки в процессе *преподавания*, с чисто *логическим* определением роли оценок в таких эмпирических науках, как социология и политическая экономия. Это повредило бы дискуссии по собственно логической проблеме, решение которой само по себе не связано с данным вопросом и отвечает лишь чисто логическому требованию полной ясности и четкого разделения лектором гетерогенных проблем.

Я не вижу необходимости дискутировать о том, «трудно» ли разграничить эмпирическое исследование, с одной стороны, и практическую оценку — с другой. Это действительно трудно. Все мы, в том числе и автор статьи, выставляющий данное требование, постоянно сталкиваемся с такой трудностью. Однако сторонникам так на-

[555]

зываемого «*этического* направления» в политической экономии следовало бы знать, что и нравственный закон невыполним, но он тем не менее нам «задан». Если обратиться к своей

совести, то, быть может, станет очевидным, что следование данному постулату трудно прежде всего потому, что мы неохотно *отказываемся* от возможности проникнуть в столь интересную сферу оценок, тем более если это стимулируется привнесением «личного тона». Каждый преподаватель знает, конечно, как проясняются лица студентов и возбуждается их интерес, как только он обращается к личным «признаниям», и насколько увеличивается число слушателей его лекций, если студенты рассчитывают на то, что такого рода «признания» будут сделаны. Известно также, что при существующей в университетах конкуренции, связанной с посещаемостью лекций, предпочтение часто отдается самому ничтожному пророку, лекции которого проходят при полной аудитории, а не *серьезному* ученому — разве что это пророчество слишком несовместимо с существующими политическими или конвенциональными требованиями. Лишь *псевдосвободный* от оценок пророк материальных интересов превосходит и его по своим шансам вследствие прямого влияния указанного фактора на политические силы. Я нахожу все это довольно печальным и не могу согласиться с тем, что требование устранить из лекций практические оценки «мелочно», что это сделает лекции «скучными». Оставляя в стороне вопрос, следует ли стремиться к тому, чтобы лекции по специальным эмпирическим наукам были прежде всего «интересными», я считаю нужным высказать опасение, что чрезмерный интерес, достигнутый привнесением в лекции высказываний личного характера, может надолго притупить вкус студентов к серьезным занятиям.

Я не считаю нужным дискутировать и полностью признаю мнение, согласно которому именно *видимость* устранения всех практических оценок с помощью хорошо известной схемы — «заставить говорить факты» — суггестивно вводит эти оценки. Ведь именно так — и вполне законно для их целей — строят свои выступления в парламенте и в ходе избирательной кампании наши лучшие ораторы. Едва ли необходимо указывать на то, что применение подобных методов в университетском преподавании было бы совершенно недопустимым злоупотреблением, именно с точки зрения вышеназванного раз-

[556]

граничения сфер. Однако если проявление нелояльности ведет к тому, что видимость выполнения требования выдается за истину, то это еще не ставит под сомнение требование как таковое. Сводится же оно к следующему: *если* преподаватель не может отказаться в своих лекциях от практических оценок, он обязан сделать это совершенно *очевидным* и для своих слушателей, и для *себя самого*.

Самым же решительным образом следует бороться с довольно распространенным представлением, будто путь к научной «объективности» проходит через сопоставление различных оценок и установление как бы некоего «дипломатического» компромисса между ними. «Средний» путь не только *совершенно так же* не доказуем средствами эмпирических наук, как «самые крайние оценки», но и нормативно наименее однозначен в сфере *оценочных суждений*. Этому методу не место на кафедре, он применим в политических программах, в стенах бюро или парламентов. Науки, как нормативные, так и эмпирические, могут оказать политическим деятелям и соперничающим партиям только *одну* неопределимую услугу, а именно: 1) указать, какие «последние» позиции *мыслимы* для решения данной практической проблемы, и 2) охарактеризовать фактическое положение дел, с которым приходится считаться при выборе между различными позициями. Тем самым мы подошли к нашей проблеме.

С термином «оценочное суждение» связано глубокое недоразумение, которое породило чисто терминологический и поэтому совершенно бесплодный спор, ни в коей мере не способствующий пониманию существа дела. Как уже было сказано, следует полностью отдавать себе отчет в том, что в рамках наших дисциплин речь идет о *практических* оценках социальных фактов, которые рассматриваются с этической, культурной или какой-либо иной точки зрения как желаемые или нежелательные. Между тем, несмотря на все то, что было сказано на эту тему<sup>4</sup> ряд исследователей, «возражая» нам, с полной серьезностью указывает на то, что науке нужны результаты: 1) «ценные», то есть оцененные как логически и фактически *правильные*, и 2) ценные, то есть *важные* по своему научному значению, и что уже в выборе ма-

териала присутствует момент «оценки». Возникало время от времени и такое поразительное недоразумение, будто мы утверждаем, что *объектом* эмпирической науки не

[557]

могут быть «субъективные» оценки людей (тогда как социология, а в области политической экономии теория предельной полезности всецело основаны на обратной предпосылке). Между тем речь идет только о весьма тривиальном требовании, которое сводится к тому, чтобы исследователь отчетливо *разделял* две группы гетерогенных проблем: установление эмпирических фактов (включая выявленную исследователем «оценивающую» позицию эмпирически исследуемых им людей), с одной стороны, и *собственную* практическую оценку, то есть свое *суждение* об этих фактах (в том числе и о превращенных в объект эмпирического исследования «оценках» людей), рассматривающее их как желательные или нежелательные, то есть свою в этом смысле оценивающую позицию — с другой. Автор одной в целом серьезной работы пишет: исследователь может ведь принять и свою собственную оценку как «факт» и сделать из него соответствующие выводы. Эта мысль столь же бесспорна, сколь бесспорно заблуждение, в которое вводит форма ее выражения. Можно, конечно, до начала дискуссии прийти к такому, например, соглашению, что определенная практическая мера, скажем, издержки по усилению армии, будут покрыты имущими классами, можно рассматривать такое соглашение как «предпосылку» дискуссии и обсуждать только *средство* его реализации. В ряде случаев это целесообразно. Однако такое сообща принятое практическое намерение называется не «фактом», а «априорно поставленной целью». Отличие его от «факта» и по существу очень скоро выявляется в ходе дискуссии о «средствах» реализации — разве что «предпосланная» в качестве недискутабельной «цель» окажется столь же конкретной, как, например, решение закурить сигару. Впрочем, в этом случае вряд ли понадобится и дискуссия о средствах. Почти во *всех* случаях совместно сформулированного намерения, например в вышеприведенном примере, становится очевидным, что в ходе дискуссии о средствах выявляется, сколь различно понимание отдельными людьми этой как будто однозначной цели. В ряде случаев может также оказаться, что преследование совершенно *одинаковой* цели связано с самыми различными мотивами, что влияет и на дискуссию о средствах ее реализации. Однако оставим этот вопрос. Ведь никому еще не приходило в голову возражать против того, что *можно* отправляться от определенной общей

[558]

цели и спорить только о средствах ее реализации и что такая дискуссия будет носить чисто эмпирический характер. Но ведь центральной проблемой является именно выбор цели (а не «средств» для однозначно данной цели), следовательно, то, в каком смысле оценка, которую кладет в основу своего выбора отдельный индивид, *не* принимается как «факт» и может служить объектом научной *критики*. Если это непонятно, все дальнейшие разъяснения ни к чему не приведут.

Не подлежит дискутированию, собственно говоря, и такой вопрос: в какой мере практические оценки, особенно этические, могут в свою очередь претендовать на *нормативные* достоинства, следовательно, отличаться по своему характеру от такого, например, вопроса, надлежит ли отдавать предпочтение блондинкам или брюнеткам, или от других подобных вкусовых суждений. Это — проблемы аксиологии, а не методики эмпирических дисциплин. Для последней все дело только в том, что значимость практических императивов в качестве нормы, с одной стороны, и значимость истины в установлении эмпирических фактов — с другой, находятся в плоскостях совершенно гетерогенной проблематики; если не понимать этого и пытаться объединить две указанные сферы, будет нанесен урон специфическому достоинству *каждой* из них. Это в особенно сильной степени проявилось, как мне кажется, в работе профессора Шмоллера<sup>5</sup>. Уважение к нашему именитому ученому не позволяет мне обойти молчанием то, с чем я не могу согласиться в его концепции.

Прежде всего, я считаю необходимым опровергнуть мнение, будто сторонники «свободы от оценочных суждений» видят в самом факте колебания значимых оценивающих позиций, как в истории, так и при индивидуальном решении, доказательство безусловно «субъективного» характера, например, этики. Эмпирические факты также часто вызывают горячие споры, и мнение, следует ли данного человека считать подлецом, оказывается в ряде случаев значительно более единодушным, чем согласие (именно специалистов) по поводу толкования испорченной рукописи. Утверждение Шмоллера о растущем конвенциональном сближении всех вероисповеданий и людей в основных вопросах практических оценок резко противоречит моему впечатлению. Впрочем, это не имеет прямого отношения к делу. Опровергнуть следует, во

[559]

всяком случае, то, что наличие подобной созданной конвенциональностью фактической очевидности ряда — пусть даже широко распространенных — практических позиций может удовлетворить ученого. Специфическая функция науки состоит, как я полагаю, в противоположном: именно конвенционально само собой разумеющееся является для нее *проблемой*. Ведь в свое время Шмоллер и его друзья сами исходили из этого. Далее, то обстоятельство, что *каузальное* воздействие *фактически* существовавших этических или религиозных убеждений на хозяйственную жизнь в ряде случаев исследовалось, а подчас и высоко оценивалось, не должно означать, что поэтому следует *разделять* или даже только считать «ценными» упомянутые убеждения, оказавшие, быть может, большое каузальное воздействие. И наоборот, что признание высокой ценности какой-либо этической или религиозной идеи ни в коей мере еще не означает, что такой же позитивный предикат распространяется также и на необычные последствия, к которым привело или могло бы привести ее осуществление. Подобные вопросы не решаются с помощью установления фактов; каждый человек выносит здесь свое суждение в зависимости от своих религиозных или каких-либо иных практических оценок. Все это не имеет никакого отношения к обсуждаемому нами вопросу. Отвергаю я со всей решительностью иное, а именно представление, будто «реалистическая» наука, занимающаяся проблемами этики, то есть выявляющая фактическое влияние, которое условия жизни определенной группы людей оказывали на преобладающие там этические воззрения, а последние в свою очередь — на условия жизни этих людей, будто такая наука в свою очередь создает «этику», способную дать какое-либо определение того, что *следует* считать значимым. Это столь же невозможно, как невозможно посредством «реалистического» изложения астрономических представлений китайцев установить, правильна ли их астрономия; целью такого изложения может быть только попытка показать, какие практические мотивы лежали в основе этих астрономических занятий, как китайцы изучали астрономию, к каким результатам они пришли и по каким причинам, подобно тому как установление факта, что методы римских агрименсоров или флорентийских банкиров (в последнем случае—зачастую при разделе значительных наследств) часто приводили к результатам.

[560]

несовместимым с тригонометрией или с таблицей умножения, не может служить основанием для дискуссии об их значимости. Эмпирико-психологическое и историческое исследование определенной оценочной позиции в аспекте ее индивидуальной, социальной или политической обусловленности может только одно: *понимая, объяснить* ее. И это немало. Не только вследствие достигаемого таким образом вторичного (не научного) результата, чисто личного характера, позволяющего быть «справедливее» по отношению к чужому мнению (действительно иному или представляющемуся таковым). Сказанное чрезвычайно важно и в научном отношении. Во-первых, при изучении эмпирической каузальности в поведении людей это позволяет проникнуть в их *действительно* последние мотивы. Во-вторых, в дискуссии, где звучат различные (действительно иные или представляющиеся таковыми) оценочные

суждения, это помогает понять действительные ценностные позиции сторон. Ведь подлинный смысл дискуссии *ценностного* характера состоит в постижении того, что в самом деле имеет в виду мой противник (но также и я сам), то есть действительно серьезные, а не мнимые ценности обеих сторон, и в том, чтобы тем самым занять определенную ценностную позицию. Следовательно, требование «свободы от оценочных суждений» в эмпирическом исследовании отнюдь не означает, что дискуссии на эту тему объявляются бесплодными или даже бессмысленными; напротив, понимание их подлинного смысла служит предпосылкой всех полезных обсуждений такого рода. Они просто заранее допускают возможность принципиальных и непреодолимых отклонений в главных оценках. В то же время «все понять» отнюдь не означает «все простить», и вообще понимание чужой точки зрения совсем не обязательно ведет к ее оправданию. Напротив, с такой же, а часто и с большей вероятностью оно ведет к ясному постижению того, почему и в чем согласия не может быть. Однако такое понимание и есть постижение истины, для этого и ведутся «дискуссии о ценностях». Безусловно, это не путь к какой-либо нормативной этике (он идет в противоположном направлении) или вообще к «императиву». Всем известно, что «релятивизирующее» воздействие таких дискуссий (во всяком случае, кажущееся таковым) скорее затрудняет осуществление цели. Тем самым мы, конечно, совсем не хотим сказать, что

[561]

их поэтому следует избегать. Напротив. Если «этическое» воззрение теряет свою силу вследствие психологического «понимания» других ценностей, то оно *стоит* не более, чем религиозные представления, устраняемые развитием научного знания, что нам нередко приходится наблюдать. И наконец, поскольку Шмоллер считает, что сторонники «свободы от оценочных суждений» в эмпирических дисциплинах могут признавать лишь «формальные» этические истины (по-видимому, в духе критики практического разума), то нам придется на этом кратко остановиться, хотя данный вопрос не имеет непосредственного отношения к нашей теме.

Прежде всего необходимо отвергнуть отождествление в теории Шмоллера этических императивов с «культурными ценностями», в том числе с высочайшими. Можно представить себе точку зрения, которой «заданы» культурные ценности, пусть даже и находящиеся в непреодолимом, неразрешимом конфликте с какой бы то ни было этикой. И наоборот, этика, которая отвергает все культурные ценности, может не быть внутренне противоречивой. Совершенно очевидно, во всяком случае, что обе эти сферы ценностей не идентичны. Столь же тяжким (и очень распространенным) заблуждением является мнение, будто в «формальных» положениях, например этики Канта, отсутствуют указания *содержательного* характера. Возможность нормативной этики не ставится под вопрос из-за того, что существуют *практические* проблемы, для решения которых она сама по себе не может дать однозначных указаний. (Сюда следует отнести определенные специфические институциональные, то есть именно «социально-политические» проблемы.) К тому же этика не единственная сфера, обладающая «значимостью», наряду с ней существуют и другие сферы ценностей, и эти ценности может подчас реализовать лишь тот, кто берет на себя «вину» в этическом смысле. Сюда прежде всего относится сфера политической деятельности. Мне представляется малодушием отрицать, что политические соображения часто противоречат требованиям этики. Однако вопреки обычному противопоставлению «частной» и «политической» морали это характеризует отнюдь не только политику. Остановимся на нескольких приведенных выше «границах» этики.

К вопросам, однозначно решить которые не способна *ни одна этика*, относятся следствия постулата «справед-

[562]

ливости». Следует ли, например (что, пожалуй, ближе всего к высказанным некогда Шмоллером взглядам), считать, что тому, кто многое делает, мы многим обязаны, или,

наоборот, что от того, кто многое может сделать, надо и многое требовать; следует ли, другими словами, скажем, во имя справедливости (ибо другие точки зрения, такие, как соображения «стимулирования», должны быть здесь исключены), предоставлять крупному таланту большие возможности или, наоборот (как полагает Бабёф), стремиться устранить несправедливость неравного распределения духовных благ посредством строгого наблюдения над тем, чтобы талант — самое обладание которым уже дает радостное ощущение престижности — не мог использовать в своих интересах свои большие возможности, что якобы недопустимо по соображениям этического характера. Надо сказать, что такова *этическая* проблематика большинства социально-политических вопросов.

Однако и в области индивидуальной деятельности существуют специфические основные проблемы этики, которые этика не может решить, основываясь на собственных предпосылках. Сюда относится прежде всего такой основополагающий вопрос: может ли ценность этического действия как таковая (ее обычно называют «чистой волей» или «настроенностью») сама по себе служить оправданием этого действия в соответствии со сформулированной в христианской этике максимой: «Христианин поступает праведно, а в остальном уповает на Бога» — или же надлежит принимать во внимание предполагаемые возможные или вероятные *последствия* своих действий, обусловленные тем, что они совершаются в этически иррациональном мире? В социальной сфере из первого постулата всегда исходят сторонники радикального, революционного политического направления, прежде всего так называемого «синдикализма»; из второго — все сторонники «реальной политики». Те и другие ссылаются при этом на этические максимы. Между тем последние находятся в постоянном разладе, который не может быть решен средствами замкнутой в своих границах этики.

Обе названные максимы носят строго «формальный» характер и сходны в данном отношении с известными аксиомами «Критики практического разума». Указанное свойство критических аксиом Канта заставляет многих считать, что они вообще не дают содержательных ука-

[563]

заний для оценки человеческих действий. Между тем это, как уже указывалось выше, ни в коей мере не соответствует истине. Приведем наиболее далекий от «политики» пример, с помощью которого, быть может, удастся показать, в чем смысл этого пресловутого «чисто формального» характера Кантовой этики. Предположим, что некий мужчина говорит о своей эротической связи с женщиной следующее: «Сначала в основе наших отношений была только страсть, теперь они стали для нас ценностью». В рамках Кантовой этики с ее трезвой объективностью первая половина приведенного высказывания звучала бы так: «Вначале мы были друг для друга *только средством*», а всю фразу можно рассматривать как частный случай того известного принципа, который странным образом принято считать чисто исторически обусловленным выражением «индивидуализма», тогда как в действительности это — гениальная формулировка неизмеримого многообразия этического содержания, ее надлежит лишь правильно понимать. В своей негативной формулировке, которая полностью исключает какое бы то ни было определение того, что же позитивно противопоставляется этому этически неприемлемому отношению к другому человеку «только как к средству», положение Кантовой этики содержит, по-видимому, следующие моменты: 1) признание самостоятельных внеэтических сфер; 2) отграничение от них этической сферы и, наконец, 3) установление того, что действия, подчиненные внеэтическим ценностям, могут быть — и в каком смысле — тем не менее различными по своему этическому достоинству. Действительно, те ценностные сферы, которые допускают отношение к другому человеку «только как к средству» или предписывают такое отношение, гетерогенны этике. Здесь мы не можем больше останавливаться на этом. Ясно одно, а именно что «формальный» характер даже такого, столь абстрактного этического положения не остается индифферентным к *содержанию* действия. Дальше проблема становится более сложной. С определенной точки зрения самый этот негативный предикат, выраженный словами «только страсть», может рассматриваться как кощунство, как оскорбление наиболее

подлинного и настоящего в жизни, единственного или, во всяком случае, главного пути, который выводит нас из безличностных или надличностных, а поэтому враждебных жизни механизмов «ценностей», из

[564]

прикованности к мертвому граниту повседневности, из претенциозности «заданных» нереальностей. Можно, например, мысленно представить себе такую концепцию этого понимания, которая (вероятнее всего, она не снизойдет до употребления слова «ценность», говоря о мыслимой ею высшей конкретности переживания) сконструирует сферу, в равной степени чуждую и враждебную любому выражению святости и доброты, этическим и эстетическим законам, культурной значимости и личностной оценке, но тем не менее, и именно поэтому, претендующую на собственное, в самом полном смысле слова «имманентное» достоинство. Как бы мы ни отнеслись к подобной претензии, очевидно, что средствами «науки» она не может быть ни оправдана, ни «опровергнута».

Любое эмпирическое исследование положения в этой области неизбежно приведет, как заметил уже старик Милль, к признанию, что единственная приемлемая здесь метафизика — абсолютный политеизм. Если же такое исследование носит не эмпирический, а интерпретирующий характер, то есть относится к подлинной философии ценностей, то оно не может не прийти к выводу, что даже наилучшая понятийная схема «ценностей» не отражает именно решающих фактических моментов. Столкновение ценностей везде и всюду ведет не к альтернативам, а к безысходной смертельной борьбе, такой, как борьба «Бога» и «дьявола». Здесь не может быть ни релятивизаций, ни компромиссов — конечно, по своему *смыслу*. Фактически, то есть по своей видимости, компромиссы существуют, как знает по собственному опыту каждый человек, притом на каждом шагу. Ведь почти во всех реальных ситуациях, в которых люди занимают определенные важные для них позиции, сферы ценностей пересекаются и переплетаются. Выравнивание, которое производит «повседневность» в самом прямом смысле этого слова, и заключается в том, что в своей обыденной жизни человек не осознает подобного смешения глубоко враждебных друг другу ценностей, которое вызвано отчасти психологическими, отчасти прагматическими причинами; он прежде всего и не *хочет* осознавать, что уходит от необходимости сделать выбор между «Богом» и «дьяволом», от своего последнего решения, какую же из этих борющихся ценностей он относит к «божественной» и какую к «дьявольской» сфере. Плод от древа познания, который нарушает спокойное течение чело-

[565]

веческой жизни, но уже не может быть из нее устранен, означает только одно: необходимость знать об этих противоположностях, следовательно, понимать, что каждый важный поступок и вся жизнь как некое целое — если, конечно, не скользить по ней, воспринимая ее как явление природы, а сознательно строить ее — составляют цепь последних решений, посредством которых душа, как пишет Платон, совершает *выбор* своей судьбы, то есть своих действий и своего бытия. Глубочайшее заблуждение содержится поэтому в представлении, приписывающем сторонникам борьбы ценностей «релятивизм», то есть прямо противоположное мировоззрение, которое основано на диаметрально ином понимании отношения между сферами ценностей и может быть должным образом (последовательно) конструировано только на основе специфической по своей структуре («органической») метафизики.

Возвращаясь к нашему случаю, можно, как я полагаю, без всякого сомнения установить, что при вынесении оценок в области практической политики (следовательно, также экономики и социальной полит-ики) в той мере, в какой речь идет о том, чтобы вывести из них директивы для практически ценных действий, *эмпирическая* наука может своими средствами определить только следующее: 1) необходимые для этого средства, 2) неизбежные побочные результаты предпринятых действий и 3) обусловленную этим конкуренцию между *возможными* различными оценками и их *практические* последствия. Средствами *философских* наук можно, помимо этого, выявить «смысл» таких оценок, то есть их конечную смысловую структуру и их *смысловые* следствия; другими словами, указать на их место в ряду всех возможных

«последних» ценностей и провести границы в сфере их смысловой значимости. Даже ответы на такие, казалось бы, простые вопросы, как, например, в какой степени цель оправдывает неизбежные для ее достижения средства, или до какого предела следует мириться с побочными результатами наших действий, возникающими независимо от нашего желания, или как устранить конфликты в преднамеренных или неизбежных целях, сталкивающихся при их конкретной реализации,— все это дело выбора или компромисса. Нет никаких научных (рациональных или эмпирических) методов, которые могут дать нам решение проблем такого рода, и менее

[566]

всего может претендовать на то, чтобы избавить человека от подобного выбора, *наша* строго эмпирическая наука, и поэтому ей не следует создавать видимость того, будто это в ее власти.

И наконец, необходимо со всей серьезностью подчеркнуть, что *признание такого* положения в *наших дисциплинах* не находится ни в какой зависимости от отношения к чрезвычайно кратко намеченным нами выше аксиологическим соображениям. Ведь, по существу, вообще нет логически приемлемой точки зрения, отправляясь от которой можно было бы его отвергнуть, разве только посредством иерархии ценностей, предписываемой догматами *церкви*. Я надеюсь узнать, найдутся ли люди, которые действительно станут утверждать, что вопросы — имеет ли конкретный факт такое, а не иное значение, почему данная конкретная ситуация сложилась так, а не иначе, следует ли обычно в соответствии с правилами фактического процесса развития за данной ситуацией другая и с какой степенью вероятности — по своему смыслу *не* отличны в корне от других, которые гласят: что следует практически *делать* в конкретной ситуации? С каких точек зрения такая ситуация может быть воспринята как практически желанная или нежеланная? Существуют ли — какие бы то ни было — допускающие общую формулировку положения (аксиомы), к которым можно было бы свести вышеназванные точки зрения? И далее, другой вопрос: в каком направлении данная конкретная, фактическая ситуация (или в более общей форме — ситуация определенного, в какой-то степени удовлетворительно определенного, типа) *будет* с вероятностью, и с какой степенью вероятности, развиваться в данном направлении (или *обычно* развивается)? И еще один вопрос: следует ли *содействовать* тому, чтобы определенная ситуация развивалась в определенном направлении, будь то в наиболее вероятном, прямо противоположном или любом другом направлении? И наконец, такой вопрос: какое воззрение вероятно (или безусловно) сложится у определенных лиц в конкретных условиях — или у неопределенного числа лиц в одинаковых условиях — на проблему любого типа? И еще: *правильно* ли такое вероятно или безусловно сложившееся воззрение? Найдутся ли люди, способные утверждать, что указанные противоположные вопросы каждой группы хоть в какой-либо степени совместимы

[567]

по своему смыслу? Что их в самом деле «нельзя», как постоянно приходится слышать, «отделять друг от друга»? Что это последнее утверждение *не* противоречит требованиям научного мышления? Если кто-либо, допуская полную гетерогенность вопросов двух названных типов, тем не менее сочтет возможным высказаться по поводу одной, затем по поводу другой из этих двух гетерогенных проблем в одной и той же книге, на одной странице, в рамках главного и придаточного предложений одной синтаксической единицы, — это его дело. От него требуется только одно — чтобы он незаметно для себя (или нарочито, руководствуясь пикантностью такой позиции) не *вводил в заблуждение* своих читателей по поводу полной гетерогенности названных проблем. Я лично полагаю, что нет в мире средства, которое оказалось бы слишком «педантичным» для устранения недоразумений такого рода.

Следовательно, смысл дискуссий о *практических оценках* (для самих участников этой дискуссии) может заключаться только в следующем:

а) в выявлении последних внутренне «последовательных» ценностных аксиом, на которых основаны противоположные мнения, тем более что достаточно часто заблуждаются не

только по поводу мнений противников, но и своих собственных мнений. Эта процедура по своей сущности являет собой процесс, который идет от единичного ценностного суждения и его смыслового анализа ко все более высоким, все более принципиальным ценностным позициям. Здесь не применяются средства эмпирической науки и не сообщаются фактические знания. Она «значима» в такой же степени, как логика;

б) в дедукции «последствий» для *оценивающей* позиции, которые произойдут из определенных последних ценностных аксиом, если положить их — и только их — в основу практической оценки фактического положения дел. Эта процедура, чисто спекулятивная по своей аргументации, связана, однако, с эмпирическими установлениями в своей по возможности исчерпывающей казуистике по отношению к тем эмпирическим данным, которые вообще *могут* быть приняты во внимание при практической оценке;

в) в установлении *фактических* следствий, которые должны возникнуть при практическом осуществлении определенного, выносящего практическую оценку отно-

[568]

шения к какой-либо проблеме: 1) вследствие того что это связано с определенными необходимыми *средствами*; 2) вследствие неизбежных побочных результатов, которые могут возникнуть и непреднамеренно. Из вышеприведенных чисто эмпирических замечаний можно вывести: 1) полную невозможность претворения в жизнь пусть даже самого приблизительного, какого бы то ни было постулата ценности, поскольку нельзя выявить возможные для этого пути; 2) большую или меньшую *невероятность* полного или даже приблизительного проведения данного постулата либо по названной причине, либо потому, что возможно возникновение нежелательных побочных результатов, способных прямо или косвенно внести элемент иллюзорности в проведении постулата; 3) необходимость принять во внимание такие средства или побочные результаты, которые не имел в виду сторонник данного практического постулата, в результате чего его ценностное решение, обусловленное целью, средствами и побочными результатами, становится для него самой новой проблемой и теряет свою прежнюю силу воздействия на другие проблемы. Причем может, наконец, возникнуть необходимость, и это следующий пункт в установлении смысла упомянутых дискуссий:

г) в защите *новых* ценностных аксиом и выводимых из них постулатов, которые не принял во внимание сторонник того или иного практического постулата и, следовательно, не определил к ним своего отношения, хотя проведение в жизнь его собственного постулата связано с ними либо принципиально, либо по своим практическим последствиям, то есть теоретически или практически. При дальнейшем рассмотрении этого вопроса в первом случае речь пойдет о проблемах типа «а», во втором — о проблемах типа «б». Поэтому такого рода дискуссии о ценностях очень далеки от «бессмысленности» и имеют весьма серьезное значение именно тогда и, по-моему, только тогда, когда они правильно поняты по своим целям.

*Польза* дискуссий о практических ценностях, проведенных в должное время и в должном смысле, отнюдь не исчерпывается теми непосредственными «результатами», к которым они приводят. Будучи правильно проведены, они весьма плодотворно сказываются на эмпирическом исследовании, ставя перед ним новые *проблемы*.

[569]

Постановке проблем в эмпирических дисциплинах должна, правда, сопутствовать «свобода от оценочных суждений». Это не «проблемы ценностей». Однако в сфере нашей дисциплины проблемы складываются в результате отнесения реальностей к ценностям. Для понимания значения этого выражения я вынужден отослать читателя к моим прежним высказываниям и прежде всего — к известным работам Г. Риккерта. Невозможно все здесь повторять. Достаточно напомнить, что слова «отнесение к ценностям» являются не чем иным, как философским истолкованием того специфического научного «*интереса*», который господствует при отборе и формировании объекта эмпирического исследования.

Этот чисто логический метод не «легитимирует» эмпирические практические оценки в эмпирическом исследовании, однако в сочетании с историческим опытом он показывает, что даже чисто эмпирическому научному исследованию *направление* указывают культурные, следовательно, *ценностные* интересы. Совершенно очевидно, что эти ценностные интересы могут развернуться во всей своей казуистике только посредством дискуссий о ценностях. Такие дискуссии могут устранить или в значительной степени упростить задачу «*интерпретации ценности*», которая стоит перед научным работником, в первую очередь перед историком, и составляет весьма важный этап предварительной подготовки в его собственной эмпирической работе. Поскольку различие не только между оценкой и отнесением к ценности, но и между оценкой и интерпретацией ценности (а это означает развитие *возможных* смысловых «позиций» по отношению к данному явлению) часто проводится недостаточно отчетливо, вследствие чего возникают неясности при определении значения логической сущности истории, то для понимания данной проблемы я отсылаю читателя к замечаниям на с. 88 и ел.\* (не считая их, впрочем, исчерпывающим решением вопроса).

Вместо того чтобы повторно рассматривать эти основные методологические проблемы, мне хотелось бы остановиться на ряде других практически важных для нашей науки вопросов.

Все еще распространена вера в то, что из «тенденций развития» следует, должно или, во всяком случае, мож-

[570]

но выводить указания для практических оценок. Однако сколь бы однозначны ни были эти «тенденции развития», вывести из них в качестве однозначных императивов к действию можно только предположительно самые подходящие при данной позиции средства, а отнюдь не самую позицию, правда, понимая «средства» в самом широком смысле слова. Тот, для кого последняя цель — интересы государственной власти, должен был бы считать — в зависимости от данной ситуации (относительно) — наиболее соответствующим средством абсолютистское или радикально-демократическое государственное устройство; и весьма странно было бы считать изменение в оценке того и другого государственного аппарата в качестве средства изменением самих «последних» позиций.

Само собой разумеется также — на это мы указывали выше,— что для индивида все время встает проблема, не следует ли ему отказаться от надежды на возможность реализовать свои практические позиции, либо потому что он обнаружил однозначную тенденцию развития, которая ставит его стремления в зависимость от применения новых средств, иногда сомнительных в нравственном или каком-нибудь ином отношении, или с ужасом отвергаемых им побочных результатов, либо потому что реализация его намерений становится настолько невероятной, что направленные на это усилия кажутся просто «донкихотством» в сравнении с их шансом на успех. Однако знание о таких более или менее устойчивых «тенденциях развития» совсем не носит особый характер. *Каждый* новый факт может с такой же долей вероятности привести к необходимости вновь сопоставить цель и неизбежные для ее реализации средства, желанную цель и неизбежные побочные результаты. Однако должно ли это произойти и с какими практическими результатами, является вопросом не только эмпирической науки, но и вообще науки как таковой, независимо от ее специфики. Так, например, можно со всей очевидностью доказывать убежденному синдикалисту, что его деятельность не только «бесполезна» в социальном отношении, то есть что она неспособна изменить условия жизни пролетариата, более того, что, усиливая «реакционные» настроения, эта деятельность неизбежно ведет к ухудшению положения пролетариата, — все это ему совершенно *ничего* не доказывает, если

[571]

---

\* См.: Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre ..., S. 88 ff. — *Прим. перев.*

он действительно до конца принял логические следствия своей точки зрения. И совсем не потому, что он безумен, а потому, что он со своей точки зрения может быть «прав». Попытаемся это объяснить. В целом люди в значительной степени склонны внутренне приспособляться к успеху или к тому, что обещает успех, и не только в своих средствах или в той мере, в какой они пытаются реализовать свои основные идеалы, — что само собой разумеется, — но и отказываясь от самих своих идеалов. В Германии считают нужным возвышенно называть такое поведение «реальной политикой». Правда, не совсем ясно, почему именно представители эмпирической науки ощущают потребность поддерживать это, встречая аплодисментами «тенденции развития» и превращая «приспособление» к ним в принцип, санкционированный авторитетом науки, тогда как в действительности это должно быть последним чисто личным решением каждого человека в каждом отдельном случае, проблемой его *ценностного* решения, делом его совести.

Верно, что успешная политика всегда является «искусством знать границы возможного» (если, конечно, правильно понимать это). Но не менее верно и то, что возможное часто достигалось только благодаря тому, что делалась попытка выйти за его границы и проникнуть в сферу невозможного. Ведь надо полагать, что специфические свойства нашей культуры, которые все мы, несмотря на имеющиеся различия (субъективно), вероятно, оцениваем более или менее положительно, созданы в конце концов не бюрократической моралью конфуцианства, этой единственной действительно последовательной этикой «приспособления» к возможному. Я, во всяком случае, не хотел бы, чтобы во имя науки нацию систематически лишали понимания того, что действие всегда связано не только с «ценностью успеха», но и с «ценностью внутренней убежденности». Кроме того, ясно, что непонимание этого безусловно мешает постижению реальности. Ибо, возвращаясь к примеру с синдикалистом, следует сказать, что даже чисто логически бессмысленно сопоставлять в своей критике поведение, которое, будучи последовательным, неизбежно руководствуется «ценностью убежденности», с «ценностью успеха». Ведь подлинно убежденный синдикалист хочет *только* сохранить для самого себя и, если это возможно, пробудить в других определенную настроен-

[572]

ность, представляющуюся ему ценной и священной. Его действия вовне, причем именно те, которые заранее обречены на полную неудачу, преследуют в конечном счете одну цель: дать ему самому перед форумом собственной совести уверенность в том, что его убеждения подлинны, то есть обладают силой «подтвердить» свою значимость действием, а не являются простым бахвальством. Для этого действие, быть может, поистине является *единственным* средством. В остальном же—если он последователен — царство его, как вообще царство любой этики убеждения, не от мира сего. «Научно» можно только установить, *что* подобное понимание собственных идеалов является единственным внутренне последовательным и не может быть опровергнуто внешними «фактами». Хочется думать, что такое объяснение пойдет на пользу как сторонникам, так и противникам синдикализма и даст им именно то, что они с полным правом требуют от науки. Что же касается таких рассуждений, которые основываются на противопоставлении «с одной стороны» — «с другой стороны» или семи доводов «за» и шести «против» определенного явления (например, всеобщей забастовки) и сопоставления этих доводов на манер прежней камералистики и, быть может, произведений современных китайских писателей, то они, по моему мнению, не приносят пользы ни одной науке, какой бы ни была ее специфика. Сведением синдикалистской точки зрения к ее наиболее рациональной и внутренне последовательной форме и установлением эмпирических условий ее возникновения, ее шансов и соответствующих опыту практических следствий исчерпана задача науки, во всяком случае, науки, *свободной от ценностей*. Доказать же, следует или не следует быть синдикалистом, невозможно без совершенно определенных метафизических предпосылок, демонстрация которых, особенно в данном случае, выходит за рамки *любой* науки независимо от ее характера. То, что офицер предпочел погибнуть, взорвав окоп, чем сдать в плен, тоже ведь *можно* считать *совершенно* бессмысленным, если исходить из результатов этого действия.

Однако совсем не безразлично, существует ли такой этос, который позволяет жертвовать собой, не заботясь о пользе. «Бессмысленно» это, во всяком случае, не более, чем убеждения последовательного синдикалиста. Правда, если бы профессор призывал с кафедры к такому «ка-

[573]

тоновскому» поведению, это не вполне соответствовало бы духу университетского преподавания. Однако необязательно и обратное: ему ведь не предписывается видеть свой долг в том, чтобы приспособлять идеалы к тем шансам, которые предоставляются обеспеченными тенденциями развития и сложившейся ситуацией.

Мы неоднократно пользовались здесь словом «приспособление», которое в данном случае, при данном способе изложения вряд ли может быть неправильно понято. Однако опыт показывает, что само по себе оно двойственно по своему смыслу и может означать либо приспособление средств определенной позиции к данной ситуации («реальная политика» в узком смысле слова), либо — при совершении выбора из числа вообще возможных позиций — приспособление к тем действительным или предполагаемым шансам, которые предоставляет в данный момент одна из них (та «реальная политика», благодаря которой мы достигли столь поразительных успехов за последние 27 лет). Однако тем самым еще далеко не исчерпаны возможные значения этого слова. Поэтому хорошо бы, по моему мнению, вообще отказаться в дискуссиях о наших проблемах (как по вопросам «оценочных суждений», так и по иным) от этого подчас произвольно толкуемого термина. В качестве научного *аргумента* он вообще неприемлем, хотя им постоянно пользуются как при «объяснении» ряда явлений (например, существования определенных этических воззрений у определенных групп населения в определенное время), так и при вынесении «оценочного суждения» (например, по поводу этих фактически существующих этических воззрений как объективно «подходящих», а *поэтому* объективно *правильных* и ценных). Ни в одном из указанных аспектов, однако, применение данного термина не дает никаких ощутимых результатов, так как он прежде всего сам нуждается в интерпретации. Область его возникновения — биология. Если понимать его в биологическом смысле, то есть как заданный обстоятельствами и в некоторой степени допускающий определенный шанс группы людей сохранить свое психофизическое *наследие* посредством значительного размножения, то экономически наиболее процветающие и наилучшим образом регулирующие свои жизненные условия слои населения оказались бы, по статистическим данным рождаемости, «самыми неприспособившимися». «При-

[574]

способившимися» в биологическом смысле, а также в любом мыслимом чисто эмпирическом значении к естественной среде в Солт-Лейке были те немногие индейцы, которые жили там до появления мормонов совершенно так же хорошо и так же плохо, как впоследствии густо заселившие эти места мормоны. Следовательно, с помощью этого понятия мы ни в какой степени не приходим к лучшему пониманию эмпирических данных, хотя охотно допускаем обратное. Укажем сразу же, что *только* при сопоставлении двух отличающихся лишь по одному конкретному признаку, в остальном же *совершенно* однородных организаций можно утверждать, что данное конкретное отличие одной из них обуславливает ее *эмпирически* более «целесообразное», следовательно, в этом случае более приспособленное к данным условиям состояние. С точки зрения *оценки* здесь в равной степени допустимы две точки зрения: можно утверждать, что материальные и иные достижения и свойства характера многочисленных поселившихся в этом регионе мормонов служат доказательством их превосходства над индейцами: однако с таким же правом можно полностью отвергать средства и подобные результаты этих достижений, безусловно в какой-то степени связанные с этикой мормонов, и предпочесть их поселениям даже пустынную степь и, уж во всяком случае, романтическое существование индейцев в этой степи, — и ни одна наука в мире независимо от ее характера не может претендовать на то, чтобы заставить сторонника какой-либо из перечисленных точек

зрения изменить свои взгляды, ибо здесь уже речь идет о различном сопоставлении цели, средства и побочных результатов.

Только если вопрос сводится к тому, какое средство наиболее целесообразно для достижения совершенно однозначно заданной цели, можно считать, что речь идет о действительно допустимом для эмпирической науки решении. Положение: *x* единственное средство для *y* — ^лишь перевернутое положение: *y* следует из *x*. Понятие же «приспособленности» (и все близкие ему) не дает никаких сведений — и это главное — о лежащих в основе ценностях, которые оно — так же как совершенно неопределенное, по моему мнению, излюбленное понятие «экономии людей» — просто маскирует. «Приспособлено» в области «культуры» в зависимости от того, что вкладывают в это понятие, все или ничего, ибо из культур-

[575]

ной жизни нельзя устранить *борьбу*. Можно изменить ее средства, ее объект, даже ее основное направление и носителей, но не борьбу как таковую. Она может быть не только внешней борьбой между враждующими людьми за внешние блага, но и внутренним борением любящих за духовные ценности, в котором внешнее принуждение подменяется внутренним насилием (в форме эротической покорности или самоотверженности), и, наконец, борьбой с самим собой в душе человека, но так или иначе борьба никогда не прекращается, и последствия ее подчас наиболее серьезны там, где она наименее заметна, и в наибольшей степени приближается к тупому, удобному безразличию, к иллюзорному самообману или совершается в форме «отбора». «Мир» означает перемещение форм борьбы, или борющихся сторон, или объектов борьбы, или, наконец, изменение шансов «отбора», и ничего другого. Выдержат ли эти перемещения испытание этического или иного оценивающего суждения и при каких условиях, нам совершенно неизвестно. Лишь одно не подлежит сомнению: при оценке любых общественных отношений, независимо от их характера и структуры, необходимо установить, *какому типу людей* они дают в процессе внешнего или внутреннего отбора (мотивов) оптимальные шансы на господство. Ибо эмпирическое исследование не может быть исчерпывающим; к тому же мы не располагаем необходимыми фактическими данными ни для осознанно субъективной оценки, ни для оценки объективной значимости. Мне хотелось бы напомнить об этом хотя бы тем нашим многочисленным коллегам, которые полагают, что в анализе общественного развития можно оперировать однозначными понятиями «*прогресса*». Это заставляет нас подробнее остановиться на этом важном понятии.

Можно, конечно, рассматривать понятие «прогресс» совершенно вне оценочного суждения, если отождествлять с ним понятие «продвижение» в ходе какого-либо конкретного, изолированно изучаемого процесса развития. Однако в большинстве случаев положение значительно сложнее. Рассмотрим несколько примеров из различных областей, наиболее тесно связанных с проблемой ценности.

В области, где действуют иррациональные, эмоциональные факторы нашей психической жизни, чисто количественный рост и обычно связанное с ним качественное

[576]

многообразие *возможных* типов поведения можно, сохраняя свободу от оценочного суждения, определить как прогресс в сфере духовной «дифференциации». Однако к этому сразу же присоединяется такое ценностное понятие, как увеличение «сферы действия», «способности» конкретной «души» или — что уже нельзя считать однозначной конструкцией — «эпохи» (как это отражено в работе Зиммеля «Шопенгауэр и Ницше»).

Нет, конечно, сомнения в том, что такое фактическое «увеличение дифференциации» существует, но совсем не обязательно там, где его ищут. Растущее в наши дни *внимание* к различным оттенкам чувств, возникшее как следствие роста рационализации и интеллектуализации всех жизненных сфер и той субъективной значимости, которую индивид все больше придает всем своим способам самовыражения (другим людям часто совершенно

безразличным), легко может создать простую видимость роста дифференциации. Отмеченное внимание к данному явлению может и в самом деле свидетельствовать о его наличии или способствовать его появлению. Однако видимость часто обманывает, и сознаюсь, что, по моему мнению, степень такого заблуждения достаточно велика. Тем не менее отрицать этот факт нельзя, а *определять* ли рост дифференциации как «прогресс» — дело терминологической целесообразности. Однако на вопрос, следует ли *оценивать* указанный факт как «прогресс» в смысле роста «духовного богатства», ни одна эмпирическая наука ответить не может. Она не занимается выяснением того, следует ли считать «ценностями» новые развивающиеся или впервые осознанные эмоциональные возможности, связанные в ряде случаев с новыми «напряжениями» и «проблемами». Перед тем же, кто хочет занять по отношению к факту дифференциации как таковому оценивающую позицию — а запретить это кому бы то ни было эмпирическая наука, конечно, не может — и ищет определенную точку зрения на данную проблему, ряд явлений современности неизбежно поставит вопрос: «какой ценой» достигается этот процесс, в той мере, в какой он являет собой теперь нечто большее, чем интеллектуальную иллюзию? Так, например, нельзя игнорировать тот факт, что жажда «переживаний» — модная ценность немецкой действительности — в очень значительной степени бывает продуктом

[577]

утраты способности одухотворять «повседневность» и что растущую потребность индивида придавать характер «публичности» своему «переживанию» можно, пожалуй, квалифицировать и как утрату пафоса дистанции, а вместе с тем и своего стиля поведения и своего достоинства. Во всяком случае, в области оценок субъективных переживаний «прогресс дифференциации» может быть отождествлен с ростом ценности *только* в интеллектуальном смысле как рост *осознанного* переживания, способности выражать свои чувства или коммуникабельности.

Несколько сложнее обстоит дело с применением понятия прогресса (в смысле «*оценки*») в области *искусства*. Многие исследователи решительно возражают против такого применения — и в зависимости от того, какой смысл в это вкладывается, справедливо или несправедливо. *Оценочное* суждение о художественном произведении никогда не может удовлетвориться простым противопоставлением того, что является искусством и что таковым не является, не принимая во внимание различий между попыткой и выполнением, между ценностью разных выполнений, между тем, что полностью завершено, и тем, что в каком-либо отношении или в ряде отношений, даже важных, не удалось, но тем не менее не может быть отнесено к совершенно лишенному ценности выполнению задачи, — причем все это относится не только к конкретной индивидуальной деятельности, но и к искусству целых эпох. Понятие «прогресс» в применении к данной области кажется тривиальным в силу того, что им обычно пользуются в решении чисто технических проблем. Однако само по себе оно не лишено смысла. Иной характер принимает данная проблема в области чисто эмпирической *истории* и *социологии* искусства. Для первой «прогресс» искусства заключается, конечно, не в эстетической оценке художественных произведений как некоей выполненной задачи, ибо такая оценка не может быть совершена средствами эмпирической науки и находится, следовательно, по ту сторону ее границ. Между тем именно эмпирическая оценка может пользоваться только чисто техническим, рациональным и поэтому однозначным понятием «прогресс» (мы к этому еще вернемся): его пригодность для эмпирической истории искусства определяется тем, что полностью ограничивается установлением

[578]

технических *средств*, необходимых для определенной эстетической задачи, которую ставит перед собой художник. Значение в искусстве этого строго ограниченного установления часто недооценивают или искажают, привнося в него тот смысл, который придают ему модные, лишенные собственного мнения и подлинного понимания «знатоки»; они претендуют на «понимание» художника, если им удалось приподнять занавес его ателье и ознакомиться с его внешними средствами изображения, с его «манерой». Между тем правильно понятый

«технический» прогресс и является областью истории искусства, так как именно он и его влияние на художественный замысел содержат то, что в процессе развития искусства может быть установлено чисто эмпирически, то есть без эстетической оценки. Остановимся на нескольких примерах, поясняющих, в чем заключается действительное значение «технического» прогресса в подлинном смысле этого слова для истории искусства.

Возникновение готики было прежде всего следствием технически удавшегося решения по существу чисто конструктивной задачи — перекрытия пространства определенного типа, то есть речь шла о создании оптимальных с технической точки зрения контрфорсов для распоров крестового свода и о ряде других вопросов, на которых мы здесь останавливаться не будем. Решались совершенно конкретные строительные задачи. Идея, что тем самым можно перекрывать определенным образом и неквадратное пространство, вдохновила ряд оставшихся на сегодняшний день, а может быть, и навсегда неизвестными зодчих, которым мы обязаны появлением нового стиля в архитектуре. Благодаря их техническому рационализму новый принцип был доведен до его логического завершения. В своем эстетическом стремлении эти зодчие связали его с неведомыми до той поры художественными задачами и ввели в скульптуру новое «видение человеческого тела», вызванное прежде всего совершенно новыми пространственными формами. То обстоятельство, что данное, прежде всего технически обусловленное, преобразование столкнулось с определенными эмоциональными факторами социологического и религиозного характера, привело к формированию существенных компонентов тех проблем, которые стояли перед

[579]

готическим искусством. Исследованием исторических и социологических аспектов этих чисто фактических — технических, социальных и психологических — условий нового стиля задача эмпирической науки в рассматриваемой области знания исчерпана. При этом она не выносит «оценки» готическому стилю в сопоставлении его, например, с романским стилем или со стилем Возрождения, также в значительной степени связанным с технической проблемой купола и с изменением — не без влияния социологических моментов — задач в области архитектуры: не выносит эмпирическая история искусства, поскольку она таковой остается, и эстетических «оценок» отдельных произведений архитектуры. Более того, эмпирической науке гетерономен *интерес* к произведениям искусства, к их эстетически релевантным особенностям. следовательно, к ее *объекту*, данному ей априорно, то есть к эстетической ценности художественных произведений, которую сама она своими средствами установить не может.

Подобным же образом обстоит дело и в истории музыки. Здесь центральная проблема, с точки зрения *интереса современного европейца* («отнесение к ценности!»), состоит в следующем: почему из существовавшей почти повсеместно народной полифонии только в Европе в определенный период времени развилась гармоническая музыка, тогда как во всех других странах рационализация музыки шла иным, обычно противоположным путем — формированием интервалов посредством дистанционного деления (обычно кварты) вместо гармонического деления (квинты). В центре находится, следовательно, проблема появления терции и ее гармонического значения в качестве части трезвучия, далее, гармонического хроматизма, современного ритма с его сильными и слабыми долями такта (вместо чисто метрономного отсчета), ритмики, без которой невысказана современная инструментальная музыка. И здесь вначале речь шла о чисто технических рациональных проблемах «прогресса». Ведь о том, что, например, хроматизм задолго до гармонической музыки использовался как средство изображения «страсти», свидетельствует античная хроматическая (по-видимому, даже энгармоническая музыка), сопровождавшая страстные дохмии недавно обнаруженного фрагмента произведения Еврипида. Сле-

[580]

довательно, не в *стремлении* к художественному выражению, а в технических *средствах* заключается разница между античной музыкой и тем хроматизмом, который великие

музыкальные экспериментаторы эпохи Возрождения создали в бурном рациональном порыве первооткрывателей; и сделано это было также для того, чтобы найти способ музыкального выражения «страсти». Техническое новшество состояло в том, что этот способ стал хроматизмом наших гармонических интервалов, а не мелодических полутонов и четвертьтонов, известных уже эллинам, и появиться такой хроматизм мог также потому, что этому предшествовало решение технически рациональных проблем. К ним следует отнести создание рационального нотного письма (без которого вообще немислима современная композиция), а еще раньше — создание определенных музыкальных инструментов, требовавших гармонического истолкования музыкальных интервалов, и прежде всего рационального полифонического пения. Здесь главную роль играли монахи раннего средневековья из североевропейских миссий, которые, не подозревая, какое значение будет иметь впоследствии их деятельность, рационализировали в своих целях народную полифонию, вместо того чтобы поручить писать музыку получившему греческое образование специалисту, как это делалось в Византии. Совершенно конкретные свойства внешнего и внутреннего положения христианской церкви Запада, обусловленные социологическими и религиозными факторами, способствовали благодаря присущему только западному монашеству рационализму возникновению там той музыкальной проблематики, которая была, в сущности, «технической» по своему характеру. Заимствование и рационализация танцевального такта, из которого вышли музыкальные формы, получившие свое завершение в сонате, были обусловлены совершенно определенными условиями общественной жизни в эпоху Возрождения. Усовершенствование фортепиано, одного из важнейших технических условий современного музыкального развития и распространения музыки в бюргерской среде, объясняется также специфическим характером североевропейской культуры. Все это — «прогресс» *технических средств* музыки, в значитель-

[581]

ной степени определивший ее историю. Рассматривать перечисленные компоненты исторического развития эмпирическая история музыки может и должна, не прибегая к *эстетической* оценке музыкальных произведений. Технический «прогресс» вначале очень часто находил свое выражение в весьма несовершенных с эстетической точки зрения произведениях. Направленность *интереса* в истории музыки — *объект* ее изучения в его эстетической значимости — дана ей гетерономно.

В области живописи выдающимся примером того, что способно дать эмпирическое исследование, может служить «Классическое искусство» Вельфлина, где эта проблема поставлена с благородной скромностью, делающей честь автору этой работы.

Полное несовпадение сферы ценностей и эмпирической сферы ярко отражено в том факте, что применение определенной, даже самой «прогрессивной» *техники* ничего не говорит об *эстетической* ценности художественного произведения. Художественные произведения, созданные средствами самой «примитивной» техники, — например, картины, лишенные какого бы то ни было понятия о перспективе, — могут по своим эстетическим достоинствам не уступать самым совершенным произведениям, созданным рациональными техническими методами, при одном условии: если поставленные художником задачи не выходят за пределы того, что адекватно этой «примитивной» технике. Появление новых технических средств означает прежде всего рост дифференциации и создает только *возможность* большего «богатства» искусства в ценностном отношении. В действительности же подобный процесс нередко имел обратный эффект — «утрату» чувства формы. Однако для эмпирически-каузального исследования именно изменение «техники» (в самом высоком значении этого слова) является наиболее важным повсеместно устанавливаемым моментом в развитии искусства.

Между тем не только историки искусства, но и историки вообще утверждают, что они не могут отказаться от политической, культурной, этической и эстетической оценки: более того, что без таких оценок они вообще не могут работать. Методология не может и не хочет предписывать кому бы то ни было, как ему следует строить свою литературную работу. Она только берет

на себя смелость утверждать следующее: определенные проблемы гетерогенны по своему смыслу и их *смешение* приведет к тому, что в ходе дискуссии мнения будут излагаться параллельно, не сталкиваясь друг с другом, и что в одном случае дискуссия, которая ведется средствами эмпирической науки или логики, плодотворна, в другом — невозможна. Быть может, уместно будет здесь сослаться еще на одно замечание общего характера, не аргументируя его пока вескими доводами: внимательное ознакомление с историческими работами показывает, что полное объективное рассмотрение эмпирического каузального ряда почти всегда прерывается, как только историк переходит к «оценке», а это наносит ущерб результатам его исследования. Ему грозит опасность, что он в своем «объяснении» сочтет следствием «ошибки» или «упадка» то, что могло быть просто результатом чуждых ему идеалов деятелей рассматриваемого им периода; тем самым он не достигает своей основной цели — «понимания». Недоразумение объясняется двумя причинами. Прежде всего (оставаясь в сфере искусства) тем, что художественная действительность доступна, кроме чисто эстетической оценки, с одной стороны, и чисто эмпирического каузального рассмотрения — с другой, еще и *интерпретации* ее ценности (о чем уже было сказано выше). Нет ни малейшего сомнения ни в самостоятельной ценности этого аспекта, ни в том, что историк не может без него обойтись. Нет сомнения и в том, что *читатель* трудов по истории искусства обычно ждет именно этой интерпретации. Все дело только в том, что по своей логической структуре она не тождественна эмпирическому исследованию.

Далее, тот, кто хочет заниматься историей искусства, пусть даже с чисто эмпирической позиции, должен обладать способностью «понимать» сущность художественного творчества, а это, разумеется, невозможно без способности эстетического суждения, следовательно, без *способности* оценки. Все сказанное здесь относится, конечно, в равной степени и к специалисту по политической истории, к историку литературы, религии или философии, ни в коей мере не затрагивая, впрочем, логической природы исторического исследования.

Однако речь об этом пойдет ниже. Здесь мы рассматриваем только один вопрос: в каком смысле *вне* эстетической оценки можно говорить в истории искусства о

«прогнессе». Мы убедились в том, что данное понятие имеет техническое и рациональное значение, которое распространяется на *средства* осуществления художественного замысла и может быть очень важным именно в рамках эмпирической истории искусства. Мы подошли к тому, чтобы рассмотреть понятие «рационального» прогресса в собственной его сфере и показать, насколько оно эмпирично или неэмпирично по своему характеру. Ибо все предыдущее относится лишь к частному случаю универсального явления.

То, как Виндельбанд (см. «История философии», 4-е изд., §2, с. 8] ограничивает свою тему (определяя ее как «процесс, в котором в научных понятиях выражено мировоззрение *европейцев*»), обуславливает применение им в его блестящей, по моему мнению, прагматике специфического понятия «прогресса», предполагаемого этим отнесением к ценности культуры (выводы из которого сделаны на с. 15, 16 его труда): с одной стороны, это понятие ни в коей мере не является само собой разумеющимся для каждой «истории» философии; с другой стороны, оно может быть положено в основу аналогичного отнесения к ценностям не только в истории философии и не только в истории какой-либо другой науки, но — иначе, чем полагает Виндельбанд [см. там же, с. 7],— в любом *историческом* исследовании вообще. Между тем ниже речь будет идти только о тех рациональных понятиях «прогресса», которые играют определенную роль в наших социологических и экономических дисциплинах. Общественная и хозяйственная жизнь Европы и Америки «рационализирована» специфическим образом и в специфическом смысле. Поэтому одна из основных задач наших наук — объяснить эту рационализацию и разработать соответствующие ей понятия. При этом вновь встает затронутая нами в связи с историей искусства, но оставленная открытой проблема: что, собственно говоря, имеется в виду, когда речь идет о «рациональном» прогрессе.

Здесь повторяется отождествление «прогресса», во-первых, просто с ростом «дифференциации», во-вторых, с ростом *технической* рациональности *средств* и, в-третьих, с ростом *ценности*. Прежде всего следует указать на то, что *субъективно* «рациональное» поведение и рационально «правильные», то есть применяющиеся объективно правильно, соответствующие научным дан-

[584]

ным, действия — совсем не одно и то же. Субъективно рациональное поведение означает лишь одно, а именно что *субъективное* намерение планомерно ориентировано на средства, которые *считаются* правильными для осуществления намеченной цели. Следовательно, рост субъективной рационализации поведения совсем не обязательно являет собой объективно «прогресс» в сторону рационально «правильных» действий. Магия, например, «рационализировалась» так же систематически, как физика. Первая «рациональная» по своим намерениям терапия почти повсеместно привела к пренебрежению лечением эмпирически установленных симптомов проверенными травами и настоями и к попыткам устранить (предположительно) «подлинную» (то есть магическую, демоническую) «причину» болезни. Формально эта терапия в смысле большей рационализации своей структуры ничем не отличалась от ряда важнейших достижений в современной терапии. Однако мы же не оценим эту магическую терапию жрецов как «прогресс» в сторону «правильных» действий по сравнению с упомянутыми эмпирическими средствами. С другой стороны, совсем не всегда «прогресс» в применении «правильных» средств достигается благодаря «продвижению» в первом субъективно рациональном смысле. Если субъективно движущееся вперед, более рациональное поведение ведет к объективно более «целесообразным» действиям, то это лишь одна из многих возможностей, и вероятность такого процесса может быть самой различной по своей степени. В том случае, когда верно положение, согласно которому мероприятие *x* является средством (будем условно считать его единственным) для получения результата *y* (это вопрос эмпирический, просто перевернутое положение каузальной связи: *y* следует из *x*), и это положение сознательно применяется людьми для ориентации их действий на результат *y* (что тоже можно установить эмпирически), *тогда* их действия ориентированы «технически правильно». Если человеческие действия (любого рода) в каком-либо одном пункте в этом смысле технически «более правильно» ориентированы, чем раньше, то можно говорить о «*техническом прогрессе*». Обстоит ли дело именно так — это (конечно, при наличии абсолютно однозначной цели) действительно входит в задачу эмпирической науки и может быть решено ее средствами, то есть может быть эмпирически установлено.

[585]

Следовательно, в этом смысле (повторяем при однозначной цели) существуют однозначно устанавливаемые понятия «технической» правильности и «технического» прогресса применяемых средств (причем «технику» мы понимаем здесь в самом широком смысле слова как рациональное поведение вообще, во всех областях — в том числе в политической, социальной, педагогической, в пропагандистском манипулировании людьми и господстве над ними). Можно, например (чтобы не выходить за пределы близких нам вопросов), приблизительно однозначно говорить о «прогрессе» в специальной области, обычно именуемой просто «техникой», а также в области торговой техники или техники судопроизводства, *если* при этом в качестве отправной точки принят однозначно определенный статус конкретного образования. Но только приблизительно: ведь известно, что отдельные технически рациональные принципы вступают друг с другом в конфликты, устранить которые можно только посредством компромисса между сторонниками конкретных интересов, но отнюдь не «объективно». Можно установить и «экономический» прогресс в области сравнительно оптимального удовлетворения потребностей при *данном* наличии средств, если исходить из *данных* потребностей при условии, что все эти потребности как таковые и оценка их субъективных рангов *не подлежат* критике, и если, наконец, сверх того твердо *установлен* характер экономики (также при

условии, что, например, интересы, связанные со сроком, гарантированностью и эффективностью такого удовлетворения потребностей, в свою очередь могут вступать — и вступают—в конфликт). Но установить это можно только при таких условиях и ограничениях.

Из данного положения пытались сделать вывод о возможности однозначных чисто *экономических* оценок. Характерным примером может служить приведенный в свое время профессором Лифманом классический случай преднамеренного уничтожения в интересах производителей нерентабельных товаров, цена которых оказалась ниже их себестоимости. Такое действие следует якобы также объективно расценивать как «правильную» в «народнохозяйственном» смысле меру. Однако эта и любая другая интерпретация такого рода (что нам здесь важно указать) принимает в качестве само собой разумеющихся ряд предпосылок, которых в действитель-

[586]

ности нет. Во-первых, что интерес индивида не только фактически часто продолжает действовать и после его смерти, но *должен* раз и навсегда приниматься в качестве сохраняющего свое значение фактора. Без подобного перемещения из сферы «бытия» в сферу «долженствования» данная якобы чисто экономическая оценка не может быть однозначно проведена. Ибо без такой предпосылки нельзя говорить, например, об интересах «производителей» и интересах «потребителей» как об интересах постоянно существующих лиц. То обстоятельство, что индивид может принимать во внимание интересы своих *наследников*, не является чисто экономическим фактором. Живые люди подменяются здесь носителями интересов, использующих «капитал» в «производстве» и существующих только в интересах производства. Это — фикция, полезная для теоретических целей. Однако даже в качестве фикции указанное обстоятельство неприменимо к положению рабочих, особенно бездетных. Во-вторых, здесь игнорируется фактор «классового положения», которое при господстве рыночного хозяйства может (но не должно) значительно ухудшить обеспечение материальными благами известных слоев потребителей именно *вследствие* возможного с точки зрения рентабельности «оптимального» распределения капитала и труда между различными отраслями производства. Ибо такое «оптимальное» распределение рентабельности, которое обуславливает неизменность инвестиций, в свою очередь зависит от соотношения сил между классами, вследствие чего позиции отдельных слоев на арене борьбы цен могут (но не должны) быть ослаблены. В-третьих, в этой интерпретации игнорируется возможность длительных неразрешимых столкновений интересов между различными политическими единицами и, следовательно, априорно принимается «аргумент свободы торговли», который из весьма приемлемого эвристического средства сразу же превращается в отнюдь не само собой разумеющуюся «оценку», как только его используют для постулирования *долженствования*. Если же для предотвращения конфликта политическая единица подчиняется мировой экономике (что теоретически вполне допустимо), то неискоренимая возможность критики, которая требует уничтожения этих пригодных для потребления благ в интересах допустимого (как мы здесь принимаем), *длительно сохраняю-*

[587]

*щегося* в данных условиях оптимума рентабельности (с точки зрения производителей и потребителей), перемещается по своему воздействию. Объектом критики становится тогда самый *принцип* обеспечения рынка с помощью таких директив, которые формируются выраженным в деньгах оптимумом рентабельности при обмене, совершаемом отдельными хозяйствами. Не связанная с рынком организация, обеспечивающая потребителей материальными благами, могла бы не принимать в расчет созданную принципом рыночной экономики констелляцию интересов отдельных хозяйств и поэтому не видеть необходимости в том, чтобы изымать из потребления имеющиеся пригодные для потребления продукты.

Признать точку зрения профессора Лифмана хотя бы теоретически корректной, а следовательно, правильной можно лишь при следующих неперенных условиях:

1) если речь идет исключительно о длительно действующих интересах рентабельности, с точки зрения константно мыслимых лиц, руководствующихся в качестве цели константно мыслимыми потребностями:

2) если потребности удовлетворяются при полном господстве частного капитала в рамках совершенно свободного рыночного обмена:

3) если государственная власть экономически не заинтересована и выполняет только гарантийные и правовые функции.

При этих предпосылках объектом оценки становятся рациональные средства для оптимального решения данной технической проблемы — распределения материальных благ. Однако полезные в чисто теоретической экономической науке фикции не могут служить основой практических оценок в реальности. По-прежнему остается в силе следующее: экономическая теория не может дать ничего *иного*, кроме указания, что соответствующим для технической цели  $x$  средством является либо только  $y$ , либо  $y$  наряду с  $y_1$ ,  $y_2$ , что в последнем случае средства  $y$ ,  $y_1$ ,  $y_2$  различаются по характеру воздействия и — в ряде случаев — по степени рациональности: что их применение и, следовательно, достижение цели  $x$  связано с «побочными результатами»  $z_1$ ,  $z_2$ ,  $z_3$ . Все это не более чем перевернутые положения каузальной связи, и возникающие в данном случае «оценки» не выходят за рамки установления степени рациональности мыслимого действия. Оценки могут быть однозначны в том —

[588]

и только в том — случае, если экономическая цель и условия социальной структуры точно установлены и задача состоит лишь в том, чтобы выбрать одно экономическое *средство* из многих, и если сверх того эти средства различны только по степени гарантированности, скорости реализации и количественной эффективности результата, в основных же аспектах, пусть даже очень важных с точки зрения интересов отдельных людей, они функционируют совершенно идентично. Лишь тогда рекомендуемое средство можно безусловно *оценить* как «технически наиболее правильное», и лишь в этом случае такая оценка действительно однозначна. Во всех остальных случаях, то есть таких, которые не носят чисто технического характера, оценка перестает быть однозначной; к ней присоединяются тогда другие оценки, не допускающие уже чисто экономического определения.

Однако установлением однозначности *технической* оценки в чисто экономической области однозначность окончательной «оценки», конечно, еще *не* достигается. Напротив, после этого только и начинается хаотическое переплетение бесконечного многообразия всевозможных оценок, преодолеть которое можно посредством сведения их к основным аксиомам. Ведь достаточно упомянуть хотя бы о том, что за «действием» всегда стоит человек. Для него усиление субъективной рациональности и *объективной технической* «правильности» действий как таковых, выходящих за известный предел (а с некоторых точек зрения и вообще), может стать угрозой важным (например, в этической или религиозной сфере) ценностям. Так, вряд ли кто-нибудь из нас следует высшим требованиям буддийской этики, отвергающей любое целенаправленное действие уже по одному тому, что, будучи целенаправленным, оно препятствует спасению. Однако «опровергнуть» буддийскую этику, как мы опровергли бы неправильное решение арифметической задачи или неправильный диагноз врача, совершенно невозможно. Впрочем, и без таких крайних примеров нетрудно понять, что даже самая «технически правильная» экономическая рационализация *одним* этим еще не легитимируется на форуме «оценок». Сказанное касается всех рационализаций без исключения, в том числе и в такой как будто чисто технической сфере, как банковское дело. Противники рационализаций такого рода совсем

[589]

не обязательно должны быть глупцами. Производя *оценку*, следует всегда помнить о том, что техническая рационализация неизбежно ведет к сдвигам в области всех внешних и внутренних условий жизни. *Законное* для наших наук понятие прогресса всегда, без какого-либо

исключения, связано с «техническим» аспектом, что должно здесь, как уже упоминалось, означать — со «средством» для достижения однозначно *заданной* цели. И никогда это понятие не возвышается до сферы «последних» *ценностей*.

В завершение сказанного я считаю необходимым заметить, что мне лично термин «прогресс» даже в тех узких границах, где его эмпирическое применение не вызывает сомнения, представляется *неуместным*. Однако запретить кому бы то ни было пользоваться теми или иными терминами нельзя, а недоразумений можно в конечном счете избежать. Прежде чем мы закончим, следует остановиться еще на одной группе проблем — на значении рациональности в эмпирических науках.

В тех случаях, когда нечто нормативно значимое становится объектом *эмпирического* исследования, оно в качестве объекта лишается своего нормативного характера и рассматривается как «сущее», а не как «значимое». Так, например, если статистическая операция сводится к установлению «ошибок» в определенной сфере профессионального исчисления — что может иметь вполне научное значение, — то правила таблицы умножения будут для нее «значимы» в двояком совершенно различном смысле. В одном случае их нормативная значимость будет, конечно, безусловно предпосылкой ее *собственных* подсчетов. В другом случае — когда *объектом* исследования будет степень правильного применения таблицы умножения — этот вопрос в чисто логическом аспекте примет иной характер. Тогда применение таблицы умножения теми лицами, чьи исчисления составляют объект статистической проверки, рассматривается как фактическая, привитая им воспитанием и поэтому *привычная* максима поведения, действительное применение которой устанавливается в зависимости от ее повторяемости, совершенно так же, как объектом статистических подсчетов могут быть определенные явления психического заболевания. Тот факт, что таблица умножения нормативно «значима», то есть «правильна», в том случае, когда «объектом» является ее применение, во-

[590]

обще не рассматривается как предмет исследования и логически совершенно безразличен. Проверая статистические подсчеты, проведенные исследуемыми лицами, статистик вынужден, конечно, в свою очередь следовать той же условности, применению таблицы умножения. Однако ему совершенно так же пришлось бы применять «неправильные» с точки зрения нормативной оценки методы исчисления, если бы они считались «правильными» в какой-либо группе людей и в его задачу входило бы статистически обследовать степень повторяемости их фактического, «правильного» с точки зрения этой группы применения. Таким образом, для эмпирического, как социологического, так и исторического, рассмотрения наша таблица умножения, превращаясь в *объект* исследования, становится только *конвенционально* значимой в определенном кругу людей максимой практического поведения, которую применяют с большей или меньшей степенью приближенности, и ничем иным. При объяснении пифагорейской теории музыки всегда приходится исходить из «ложного» (для нашего знания) определения, в соответствии с которым 12 квинт равны семи октавам. Совершенно так же и в истории логики необходимо принимать историческую данность противоречивых (с нашей точки зрения) логических построений; по-человечески понятен гнев по поводу «абсурдных домыслов», которым разразился в этой связи один достойный всяческого уважения историк средневековой логики; однако к науке это уже не имеет отношения.

Подобная метаморфоза нормативно значимых истин в конвенционально значимые мнения, которой подвластны все духовные образования (включая логические и математические идеи) с того момента, когда они становятся объектом рефлексии, рассматривающей их под углом зрения их эмпирического *бытия*, а не их (*нормативно*) правильного *смысла*, существует совершенно независимо от того факта, что нормативная значимость логических и математических истин является вместе с тем безусловной априорной данностью всех эмпирических наук. Менее проста их логическая структура в той (уже затронутой нами выше) функции, которую они осуществляют при эмпирическом исследовании духовных связей, что

следует в свою очередь тщательно отделять от их положения в качестве объекта исследования и -от их положения в качестве а priori данных условий. Каждая наука, изу-  
[591]

чающая духовные и социальные связи, всегда есть наука о *человеческом* поведении (под данное понятие подпадает также любой акт мышления и любой психический *habitus*\*). Наука стремится «понять» это поведение и тем самым, «поясняя, интерпретировать» его процесс. Здесь мы не можем заниматься сложным понятием «понимание». В этой связи нас интересует только один его специфический аспект — «рациональное истолкование». Мы «понимаем», конечно, без каких-либо объяснений, когда мыслитель «решает» определенную проблему таким способом, который мы сами считаем нормативно «правильным», когда, например, какой-либо человек «правильно» считает, что для задуманной им цели он применяет «правильные» (с нашей точки зрения) средства. Наше понимание этих актов столь очевидно именно *потому*, что речь идет о реализации объективно «значимого». Тем не менее не надо думать, что в этом случае нормативно правильное предстает—в логическом аспекте — в той же структуре, как в своем общем значении в качестве априорного условия научного исследования как такового. Напротив, его функция в качестве средства «понимания» ничем не отличается от той, которая осуществляется при чисто *психологическом* «вчув-ствовании» в логически иррациональные связи эмоционального и аффективного характера, когда задача сводится к их понимающему познанию. Средством понимающего объяснения является здесь не *нормативная* правильность, а, с одной стороны, *конвенциональная* привычка исследователя и педагога мыслить так, а не иначе: с другой — способность при необходимости, понимая, «вчувствоваться» в мышление, отклоняющееся от того, к которому он привык, и представляющееся ему поэтому нормативно «неправильным». Уже тот факт, что «неправильное» мышление, «заблуждение» в принципе столь же доступно нашему пониманию, как «правильное», доказывает ведь, что мышление, принимаемое нами в качестве нормативно «правильного», выступает здесь *не как таковое*, а только как наиболее *понятный конвенциональный* тип. А это приводит нас к последнему выводу о роли нормативно правильного в социологическом знании. Даже для того, чтобы «понять» «неверное» исчисле-

[592]

ние или «неправильный» логический вывод, чтобы установить и показать их влияние и фактические следствия, необходимо не только произвести проверку (что само собой разумеется), совершив их «правильный» подсчет или логическое переосмысление, но и точно определить средствами «правильного» исчисления или «правильного» логического мышления именно *ту точку*, в которой исследуемые расчеты или логическое построение *отклоняются* от того, что проводящий проверку исследователь считает нормативно «правильным» со своей точки зрения. И совсем не только в педагогической практике, о чем говорит Виндельбанд во введении к своей «Истории философии» (образно называя это «предупредительными сигналами», предостерегающими от «тупиков»),—это не более чем положительный побочный результат работы историка. И не потому, что в каждой исторической проблематике, объектом которой служит какое-либо логическое, математическое или иное научное знание, единственно возможной основой, определяющей выбор при отнесении к ценности, может быть *только* значимая для нас ценность «истины», а следовательно, и прогресс в направлении к ней. (Впрочем, даже здесь следует помнить об указании Виндельбанда, что «прогресс» в этом его смысле очень часто, минуя прямой путь, идет — по экономической терминологии — «выгодным для производства обходным путем» через «заблуждения» и переплетение различных проблем.) Упомянутое требование необходимо потому, что те аспекты, в которых изучаемое в качестве объекта духовное образование отклоняется (или в той мере, в какой оно отклоняется) от «правильного», с точки зрения исследователя, часто относятся, по его мнению,

---

\* Здесь: строй (лат.).—Прим. перев.

к наиболее специфически «характерным», то есть к таким, которые либо непосредственно соотнесены с ценностью, либо являются в каузальном значении *важными* в связи с другими ценностно соотнесенными явлениями. Это, как правило, происходит тем чаще, чем в большей степени основополагающей ценностью исторического исследования является ценность истины определенных мыслей, следовательно, прежде всего — в истории какой-либо «науки» (например, философии или такой теоретической науки, как политическая экономия). Однако совсем не обязательно только здесь; подобное, близкое, во всяком случае, положение создается повсюду, где предметом изображения служит субъективное по

[593]

своему намерению, рациональное поведение вообще, где, следовательно, ошибки «мышления» или «исчисления» могут образовать каузальные компоненты поведения. Так, например, для того чтобы «понять» ведение войны — пусть даже не обстоятельно или в деталях, — необходимо представить себе на той и другой стороне сражающихся идеального полководца, которому совершенно ясна как общая ситуация, так и дислокация сторон, а также вытекающие из всего этого возможности достигнуть *in concrete* однозначной цели — уничтожения военной мощи противника, — и который на основании такого знания действует безошибочно и логически «непогрешимо». Ибо только в этом случае может быть однозначно установлено, как каузально повлияло на ход событий то обстоятельство, что реальные полководцы не обладали ни подобным знанием, ни подобной безошибочностью суждений и вообще не были просто рационально мыслящими машинами. Значение рациональной конструкции состоит здесь, следовательно, в том, что она служит средством для правильного каузального «сведения». Совершенно таков же смысл тех утопических конструкций строго и безошибочно рациональных действий, которые создаются «чистой» экономической теорией.

Для каузального *сведения* эмпирических процессов нам необходимы рациональные конструкции, будь то эмпирические, технические или логические, которые дадут ответ на вопрос: каковы *были бы* фактические обстоятельства, отражающие внешнюю связь событий или мыслительное образование (например, философскую систему), при абсолютной рациональной, эмпирической и логической «правильности» и «непротиворечивости». Логически конструкция подобной рационально «правильной» утопии — лишь *одно* из множества возможных формирований «идеального типа», как я (ввиду отсутствия иного термина) определил подобные понятийные образования. Ведь можно, как уже было сказано, не только представить себе ситуацию, в которой характерные *ложные* выводы или определенное типическое, *не соответствующее* цели поведение могут быть полезнее правильной конструкции; но более того, существуют целые области поведения (сфера «иррационального»), где наилучшие результаты достигаются не с помощью наиболее логической рациональности, а посредством однозначности, полученной на основе изолирующей аб-

[594]

стракции. *Фактически*, правда, исследователь чаще всего пользуется нормативно «правильно» сконструированными «идеальными типами». Однако при этом важно помнить, что с *логической* точки зрения нормативная «правильность» последних не составляет наиболее существенного. Исследователь, характеризуя специфическое убеждение людей определенной эпохи, может сконструировать как тип убеждений, лично ему представляющийся этически нормативным и в этом смысле объективно «правильным», так и тип, с его точки зрения этически неприемлемый, а затем сравнить со своей конструкцией поведение изучаемых им людей; он может, наконец, сконструировать и такой тип убеждения, который лично ему вообще не представляется ни положительным, ни отрицательным. Следовательно, нормативно «правильное» не обладает монополией для данной цели. Какое бы содержание ни имел рационально созданный идеальный тип — будь то этическая, догматически-правовая, эстетическая, религиозная норма или техническая, экономическая, политико-правовая, культурно-политическая максима или «оценка», заключенная в наиболее рациональную форму любого вида, — конструкция

идеального типа в рамках эмпирического исследования всегда преследует только *одну* цель: служить «сравнению» с эмпирической действительностью, показать, чем они отличаются друг от друга, установить степень отклонения действительности от идеального типа или относительное сближение с ним, для того чтобы с помощью по *возможности однозначно используемых понятий* описать ее, понять ее путем каузального сведения и объяснить. Функции такого рода выполняет, например, рациональное образование догматических понятий для такой эмпирической науки, как история права (см. с. 337\* ), а учение о рациональном калькулировании — для анализа реальных действий отдельных производственных единиц в предпринимательском хозяйстве. Обе упомянутые догматические дисциплины в качестве «знания ремесла» ставят перед собой также важные нормативно-практические цели. Обе дисциплины в этом своем аспекте в качестве догматических наук столь же далеки от эмпирических дисциплин в трактуемом здесь смысле, как, скажем, математика, логика, нормативная

[595]

этика, эстетика, от которых они по другим причинам столь же отличаются, как, впрочем, отличаются друг от друга и сами эти науки.

Очевидно также, что экономическая теория логически являет собой догматику в совершенно ином смысле, чем, например, догматика права. Понятия экономической теории относятся к экономической реальности совершенно иначе, чем понятия правовой догматики относятся к реальным объектам эмпирической истории и социологии права. Однако подобно тому как догматические правовые понятия могут и должны служить «идеальными типами» для истории и социологии права, такое применение аналогичных понятий в познании социальной действительности настоящего и прошлого составляет *единственный* смысл чистой экономической теории. Здесь создаются определенные предпосылки, едва ли полностью достигаемые в реальности, но встречающиеся в том или ином приближении, а затем ставится вопрос: как протекали бы при таких предпосылках социальные действия, если бы они были строго рациональны. Экономическая теория исходит из чисто экономических интересов и исключает влияние таких факторов, как политическая власть или иные внеэкономические ориентации индивидов.

Здесь произошло, однако, типичное явление «смещения проблем», ибо «свободная от государственного вмешательства», от «моральных оценок», «индивидуалистическая» чистая теория, которая всегда была и будет необходимым вспомогательным средством исследования, стала трактоваться радикальным фритредерством как полное подобие «естественной», то есть не испорченной человеческим неразумием, действительности, а тем самым и как «долженствование», другими словами, как значимый в ценностной сфере идеал, а не как полезный для эмпирического исследования сущего идеальный тип. Когда же вследствие экономических и социально-политических изменений в оценке государства произошел сдвиг в сфере ценностей, он в свою очередь распространился и на сферу бытия и отверг чисто экономическую теорию не только как воплощение идеала (на что ей претендовать и не следовало), но и как методический путь к исследованию действительности. «Философские» соображения самых различных видов были призваны занять место рациональной прагматики, а идентификация «психологически» сущего и этически значимого

[596]

привела к тому, что провести полное разделение между ценностной сферой и эмпирическим исследованием стало невозможным. Выдающиеся достижения сторонников этого научного направления в исторической, социологической, социально-политической области получили всеобщее признание; однако для беспристрастного наблюдателя столь же очевиден полный, десятилетия длящийся упадок теоретического и строго научного экономического исследования

---

\* См.: Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. S. 337. — Прим. перев.

вообще как естественное следствие упомянутого смещения проблем. Один из основных тезисов, используемых противниками чистой теории, состоял в том, что рациональные конструкции последней не более чем «только фикции», ничего не говорящие о реальной действительности. При правильном понимании это действительно так; ибо теоретические конструкции только способствуют познанию, а отнюдь не дают познания реальностей, которые вследствие воздействия иных, не содержащихся в их теоретических предпосылках обстоятельств и моти-вационных рядов сами лишь в редчайших случаях содержат приближения к конструированному процессу. Однако, как явствует из сказанного выше, последнее ни в коей мере не умаляет значения чистой теории и необходимости в ней. Второй тезис противников чистой теории сводился к тому, что свободной от оценки экономической *политики* как науки вообще быть не может. Данный тезис, безусловно, полностью неверен, более того, верно обратное: только «свобода от оценок» (в том смысле, как мы это показали выше) являет собой предпосылку *каждого* чисто научного исследования политики, особенно социальной и экономической. Вряд ли необходимо повторять, что безусловно возможно, в научном отношении полезно и необходимо конструировать положения следующего типа: для осуществления (в экономической политике) цели  $x$ , единственное надежное средство  $y$ , а в условиях  $b_1 b_2 b_3$  единственными или наиболее эффективными средствами являются  $y_1 y_2 y_3$ . Следует лишь напомнить, что эта проблема состоит в том, насколько возможно абсолютно *однозначно* определить преследуемую цель. Если это сделано, то все сводится к простой инверсии каузальных положений, то есть к чисто «технической» проблеме. Именно поэтому в указанных случаях отнюдь не возбраняется трактовать такие технические телеологические положения как простые каузальные ряды, то есть таким образом: из

[597]

$y$  или из  $y_1 y_2 y_3$  при условиях  $b_1 b_2 b_3$  всегда следует результат  $x$ . Это совершенно то же самое, а «рецепты» «практический политик» без труда извлечет сам. Однако экономика как наука ставит перед собой наряду с созданием идеально-типических конструкций и с установлением приведенных здесь *отдельных* причинных связей в экономике (ведь только о них идет речь, если  $x$  достаточно *однозначен* и, следовательно, сведение результата к причине, то есть сведение средства к цели, достаточно строго проведено) еще ряд других задач. Экономическая наука должна сверх того изучать всю совокупность социальных явлений под углом зрения их обусловленности также и экономическими причинами, то есть с точки зрения влияния экономики на историю и общество. С другой стороны, ее задача — установить обусловленность экономических процессов и хозяйственных форм социальными явлениями в зависимости от различных их видов и стадий развития. Это — задача истории и социологии хозяйства. К таким социальным явлениям относятся, конечно, прежде всего политические действия и образования, то есть в первую очередь государство и гарантированное государством право. Но столь же само собой разумеется, что не только политические акции, но и совокупность всех тех образований, которые в *достаточно* для научного интереса релевантной степени влияют на экономику. Такое наименование, как наука об «экономической *политике*», конечно, весьма мало подходит к определению всей совокупности указанных проблем. То, что мы тем не менее это наименование часто встречаем, объясняется с внешней стороны характером университетов как средоточий образования государственных чиновников; с внутренней стороны — интенсивным влиянием, которое государство посредством своего мощного аппарата оказывает на экономику, практической важностью рассмотрения именно этого факта. Вряд ли надо вновь указывать на то, что преобразование во всех таких исследованиях «причины и действия» в «средство и цель» возможно в тех случаях, когда *результат*, о котором здесь идет речь, может быть определен достаточно однозначно. Само собой разумеется, что в логическом соотношении ценностной сферы и сферы эмпирического познания и в данном случае ничего не меняется. В заключение мы считаем необходимым указать еще на одно обстоятельство.

[598]

В течение последних десятилетий престиж *государства* значительно вырос, прежде всего вследствие тех беспрецедентных событий, свидетелями которых мы являемся. Ему одному из всех социальных коллективов предоставляется теперь «легитимная» власть решать вопрос о жизни, смерти и свободе людей, и государственные органы действительно пользуются этим правом в период войны, борясь против внешнего врага, в мирное время — против внутренней оппозиции. В мирное время государство является крупнейшим предпринимателем и самой могущественной инстанцией, господствующей над налогоплательщиками. В военное время оно обладает безграничным правом пользоваться всеми доступными ему хозяйственными ресурсами страны.<sup>1</sup> Современная рационализированная форма государственного предпринимательства позволила в ряде областей достичь таких результатов, которые оказались бы, конечно, невысказанными—даже в приближенной форме—для каких-либо иных обобществленных совместных действий. Казалось бы совершенно естественным, что вследствие всего сказанного государство должно быть главной «ценностью» — особенно если речь идет об оценках в области «политики», что с его интересами должны соотноситься все социальные действия. Но в действительности это—совершенно недопустимое истолкование, построенное на перемещении фактов из сферы бытия в сферу нормативных оценок, при котором полностью игнорируется отсутствие однозначных следствий из таких оценок, что сразу же проявляется при обсуждении необходимых «средств» («сохранения» государства или «оказания ему помощи»). В сфере чисто фактических действий следует именно ради указанного престижа установить, чего государство совершать *не* может. Причем даже в той области, которая безусловно считается его доменом, то есть в области военной. Изучение ряда явлений, заявивших о себе в годы войны в армиях государств с *национально* неоднородным населением, показывает, что свободная от принуждения преданность делу своего государства отнюдь не маловажный фактор даже в военном отношении. В области экономики достаточно указать на то, что применение в мирное время форм и принципов экономики военных лет и *длительное* их сохранение может очень скоро привести к таким последствиям, которые прежде всего покажут несостоятельность концепции сторонников экс-

[599]

пансионистских государственных идеалов. На этом, однако, мы здесь останавливаться не будем. В сфере *оценок* можно с полным правом защищать точку зрения, отстаивающую наивысшую власть государства и его право пользоваться аппаратом принуждения в борьбе с оппозицией, но возможна и противоположная точка зрения, полностью отрицающая *самодовлеющую* ценность государства и превращающая последнее просто в техническое вспомогательное средство для реализации совсем иных ценностей, которые только и оправдывают его достоинство и лишают его этого ореола, как только оно совершает попытку изменить свое подчиненное положение.

Здесь мы, конечно, не будем развивать, ни тем более защищать ни эту, ни какую-либо иную ценностную позицию. Достаточно лишь напомнить, что непосредственная обязанность профессиональных «мыслителей» состоит прежде всего в том, чтобы сохранять трезвость перед лицом господствующих идеалов, какими бы величественными они ни казались, сохранять способность «плыть против течения», если в этом окажется необходимость. «Немецкие идеи 1914 г.» были продуктом литературы. Социализм будущего — фраза, необходимая для рационализации экономики путем сочетания процесса дальнейшей бюрократизации с администрацией, осуществляемой союзами целевого назначения с помощью заинтересованных лиц. Если патриоты из различных ведомств по вопросам экономической политики в своем фанатическом увлечении этими чисто техническими мерами предпочитают вместо объективного изучения их целесообразности (в значительной степени основанной на трезвых соображениях финансовой политики) взывать к освящению своих взглядов не только немецкой философией, но даже религией (что в настоящее время постоянно происходит), то это просто отвратительная безвкусица со стороны преисполненных своей важности литераторов. Каковы могут или должны быть «немецкие идеи 1918 г.», формирование которых произойдет не без

участия тех, кто вернется после войны, никто теперь предречь не может. Но именно они определяют будущее.

[600]

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Статья представляет собой переработанный текст доклада, подготовленного в 1913 г. для внутренней дискуссии в рамках комиссии «Общества по вопросам социальной политики». Здесь исключено все то, что могло интересовать только данное учреждение, и расширены общие методологические положения. Из других предложенных для дискуссии докладов опубликован доклад профессора Шпрангера в ежегоднике «Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft». Должен сознаться, что эта работа философа, которого я высоко ценю, представляется мне удивительно слабой, поскольку она не вносит ясности в обсуждаемые проблемы. Однако от полемики я отказываюсь, хотя бы из-за недостатка места, и ограничиваюсь тем, что излагаю собственную точку зрения.

2. Для этого недостаточен принцип, принятый в Голландии: освобождение от принуждения в вопросах вероисповедания и теологического факультета, свобода основания университетов — при гарантии необходимых для этого средств и следовании требуемым уставом предписаниям о квалификации профессоров, занимающих университетские кафедры, и предоставление частным лицам права учреждать кафедры, влиять на выдвижение кандидатов на профессорские должности. Все это выгодно лишь тем, кто располагает капиталом, а также авторитарным организациям, которые и без того обладают достаточной властью: как известно, таким правом воспользовались лишь представители клерикальных кругов.

3. Это не немецкая особенность. Почти во всех странах фактически явно или тайно такие ограничения существуют. Различие лишь в том, какого рода ценностные проблемы исключаются.

4. Я вынужден сослаться на то, о чем уже шла речь в предыдущих статьях (недостаточно точные, быть может, отдельные формулировки не должны, как мне кажется, затрагивать существенные для данного исследования стороны), и хочу отослать по вопросу о «недейственности» ряда последних оценок в области важной проблематики среди прочего и к работе: Radbruch G. Einführung in die Rechtswissenschaft, 1913. В некоторых пунктах я не согласен с автором, однако для исследуемой здесь проблемы это не существенно.

5. В статье «Volkswirtschaftslehre». — In: Handwörterbuch der Staatswissenschaft. 3 Aufl. Bd. 8 S. 426-501.

[601]

Текст приводится по изданию:

Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайдено. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с. — (Социологич. мысль Запада).